

ПУБЛИКАЦИИ

УДК 821.161.1

А.Н. Стрижёв

**СВОИМИ ПУТЯМИ-ДОРОГАМИ:
(Из воспоминаний)**

О себе повествую сам

Свою повесть «Из малых лет» (1971) я, может быть, слишком густо оснастил говорами и речениями родного села Тарадей – Шацкий уезд Рязанщины, искони Тамбовской губернии по этнокультурному облику крестьян. Там среди них и родился, рос и возростал. Потому и язык родной для меня, не привозной, а свойский, «туземный». Сельская улица, речистая, приметливая и улыбочивая в радости, а в горести – немногословная, напряженная в крестьянских буднях. Ребягня пробавлялась, чем могла, зато сторонилась казенных прозваний, обходясь просторечиями, кличками и прозвищами, впрочем совсем необидными, просто для удобства. А подробности житейские западали в душу из разговоров взрослых, от них же и старина, и былая жизнь, исповедальность и такт в пределах совести. Запаса впечатлений хватило на всю жизнь.

Когда приехал в Москву к родителям (1950), село родное еще живо говорило во мне и согревало фантазию, несмотря на предстоящие тяготы, обрабатывая познанием «дикий камень». И еще книги – мои наставники с малолетства. С возрастом ими только и держалась мечта. Собирал поначалу, что приглянется, а с годами выработывался вкус к избранному чтению. За классиками потянулся к изысканным поэтам: Федору Тютчеву, Иннокентию Анненскому, литераторам Серебряного века. Собирательство редких и запрещенных книг навсегда стало моей страстью. Знако-

мился и дружил с такими же книжниками, только и радовался находкам. А когда учился в Редакционно-издательском институте (1957), собирательство изданий приобретало некоторую цель – возможная полнота источников для библиографий, публикаций поэтов и прозаиков. Круг имен суживался, постепенно серьезные разыскания определились двумя-тремя темами: Тютчев и его время, а из прозаиков – Евгений Замятин с его исканиями новаторского мастерства. Жизнь этого писателя, полностью вычеркнутого из литературного обихода, составлял по крупицам – на его Родине в Лебедяни, в расспросах рассеянных по стране уцелевших родственников и уездников. Всё делал для себя, надежды на востребованность имени – никакой. Отпугивало непонимание в литературных слоях общества да чванливость среди пустопорожных писателей. И с какой теплотой вспоминаю людей неравнодушных к судьбе словесников – и прежде всего вспоминаю скрытных и честных библиофилов, архивистов и краеведов. Мои занятия были нужны, прежде всего, мне самому. Раздвигал горизонты поиска, усваивал источники, вживался в эпоху, постигал действительность.

И всё же крестьянская доля настойчиво напоминала о прежних обидах и радостях, хотелось поярче и подостовернее рассказать о жизни русского села. А жило село, придерживаясь старозаветных привычек, мудростью накопленного опыта. С остатками сельского населения мудрость сеятеля еще как-то держалась. Требовалось заняться сбором хозяйственных пословиц, поговорок и примет, опираясь на записи этнографов, фольклористов и краеведов, включив в этот свод и собственные записи, слышанные от старых сеятелей, пастухов и скотников. Копились мудрые выражения исподволь, и вот подошел срок разбирать накопленный массив записок. Повторы и формальные записи – в сторону, а которые в лад говору, поэтической зоркости земледельца – в основной фонд. Вникнув в ученые труды агрономов, сверил и в этом измерении выводы практиков, собственные наблюдения за процессами труда, за сменой времен года на Русской равнине и, конкретнее, в пределах своего уезда. Ощущение признаков смены сезонов года, одушевленных поэтических картин природы и живое движение впечатлений – всё подтверждало достоверность образного строя очерков.

Народный календарь представлял собой дневник православных и трудовых святцев, и это было так необычно после стольких лет гонений на русскую традиционную жизнь. В пяти номерах замечательного журнала «Наука и жизнь» (1968 г.), в моих очерках, посвященных народным знаниям о временах года, было опубликовано 3 тыс. афоризмов, народных выражений – примет, пословиц и загадок, и весь этот свод вековой мудрости наложен на календарную сетку с пояснениями в той же тональности поэтического сказа. Трехмиллионный тираж журнала практически читала вся страна. И мешки отзывов тому свидетельство. В следующем, 1969 г. здесь же стали публиковать продолжение моих очерков – научное рассмотрение каждого месяца на основе климатических и метеорологических сведений, полученных учеными по данным инструментальной науки. Чтобы не «засушить» поднятую тему, в очерки включались живые сцены из мира природы. В 12 номерах журнала, таким образом, был описан облик каждого месяца, а в целом – и всего круглого года. Далее предстояло оформить последовательность фенологических фаз и их наступление в том или ином году. За 100 лет накоплены сведения по 200 аспектам наблюдений, собранные добротами, а когда появились метеорологические станции – то и профессиональными фенологами, взаимодействующими с широким кругом добровольных помощников, объединенных наставниками в составе Русского географического общества. Сведения, публикуемые в «Календаре русской природы», учитывали отклонения дат наступления фенологических фаз по годам, но выводилась также медиана, средняя за все исследуемые годы, рассчитанная как статистически взвешенная. Оставалось определить подсезоны года. И это было сделано и даже графически изображено в особом спектре сезонов (1973), в котором показана продолжительность в днях каждого подсезона и признака наступления явлений. Народная мудрость, таким образом, поверяется учеными, и добытые разными путями сведения совпадают. Тут автору в полную меру пригодились знания, полученные в сельскохозяйственном институте, и то, что подсказывал личный опыт наблюдений в живой природе.

Этот же опыт востребовался при создании нового цикла «Русское разнотравье».

Публикации продолжались непрерывно десять лет (1971–1981), всего 120 очерков о самых обыкновенных наших травянистых растениях, обитающих на лугах, в полях и вдоль рек. «Не сеяно, не полото зеленое золото» – так говорится в русской загадке об этом народном достоянии, названном одним словом – «разнотравье». Выговорить-то легко, а выразить непросто. Надо было так описать ботанический облик вида, чтобы был узнаваем и назван понятно. Кроме закрепленного научного названия, желательно представить широкий ряд местных прозвищ, таящий целый кладезь понятий о лекарственном и хозяйственном применении конкретной травы. Синонимические ряды просторечных, диалектных названий открывают в говорах копилку народных сведений о живом опыте наших предков, непосредственном общении с природой своего края. Потомки усвоили и обогатили эти знания, соблюдая завет: беречь и множить благодатное достояние, укреплять и украшать жизнь.

Сквозь очерки хотелось проявить еще и эстетическую связь человека и окружающей его красоты. Деловой хозяин знает, когда лучше заготавливать впрок корма, где их лучше всего заготавливать и как хранить. Еще с большим искусством травознай приступает к запасам лекарственных растений и к их применению. Книга «Русское разнотравье» обо всем этом поведает ненавязчиво и достоверно. Не упущен и занимательный интерес – приводятся легенды и предания, строчки из литературной классики тоже приурочены кстат. Эти научно-художественные публикации в журнале «Наука и жизнь», возможно, напомнили нашим беллетристам по-своему развернуть поставленные темы. Во всяком случае, Василий Белов следом создает свой деревенский эпос «Лад», а писатель Владимир Солоухин – обширный очерк «Трава», делая в нем упор «сугубо» на личные впечатления. Смыкались лишь аспекты наблюдения, а рассуждения делались свои.

Проходя версты родными просторами, бывая в лесу, в лугах, а то и шагая полевыми дорогами, частенько вспоминал словечко моей сторонки, говор села Тарадеи Шацкого уезда. Ну а облик слова – это одушевленный образ односельчан, оттого и запал в душу. Хожу, бывало, и перебираю слова-самоцветы, возникают знакомые образы, а то и деревенские сцены.

Постепенно свойских слов накопилось изрядно. Глянул в записи, подсчитал. Так это же целый словарь! С толкованиями 400 единиц. Решил послать свои находки в Институт русского языка, где всю разворачивалось многотомное издание «Словаря русских говоров». Очень скоро получил письмо академика Федота Петровича Филина, директора этого академического учреждения. Благодарит за присылку тамбовских говоров, слышанных мною за время проживания в своем селе с рождения в 1934-м и по год убития – в 1950-м. Пишет, что по Тамбовщине в институте имеется мало лексических материалов и записанные мною говоры войдут в академический словарь. И вправду, уже начиная с девятого (1972) тома словаря мои записи с пояснениями стали печататься в статьях этого издания.

Но подступил знаменательный срок – 50-летие Александра Исаевича Солженицына (1968). Какой сделать писателю подарок, чтобы пришелся к месту, не был бы лишним? Вот записи тамбовских говоров как раз игодились; ведь Классик в то время разворачивал «Красное колесо» – на действительность октября 1916 г.

И среди персонажей его книги тамбовский выходец Воротынцева, для его речевой характеристики и потребовались «туземные» слова и местные прозвища.

Не обошлось тут, правда, без казуса. В нашем селе, где собирал слова, мне привелось вставить в говоры одно слово, слышанное мальчишкой от деревенского старика, по прозвищу Дед Масло. Садясь за стол, он говорил «поштофкаю», «поем» значит. Не знал я тогда, что это выражение степенного старика заносное, не наше. Крестьянин носил его с тюремных лет, тех, когда отбывал каторгу, и долгое время затем не выронил из своего скудного запаса: дед неразговорчив был.

Александр Исаевич сразу же заметил мой промах, сказал только, что всё по делу. Хорошо, но есть и замечания. Какие – не сказал, мол, думай сам. И я кумекал, думал, да ответа не находил. Проходили годы, десятилетия, и вот великий мыслитель вернулся из Вермонта на Родину, и снова встреча. Зашла речь всё о тех же тамбовских говорах, о моей повести «Из малых лет», написанной для него же, до депортации... И если мне всё раньше сходило с рук, то теперь требовательного писателя расстраивали некоторые мои непристойные выражения и физиология поведения персонажей.

Лепил я образы «один к одному», как было в жизни, и если бы получилась вмятина при лепке, она так и осталась бы незаглаженной. В целом записка получилась: такая деревня, незнакомая писателю в подлиннике, талантливейшему творцу литературных произведений, исследователю-труженику – не была безразлична, ежели ему доставили в изгнание и за рубеж, и там он читал те мои скоропалительные страницы, что возникли сокровенно и прикровенно. Может быть, более удачными получились вещи, исполненные в другом регистре? Помню, как похвалил Александр Исаевич радиопередачи цикла «Русский календарь и народная песня», где мой текст читает славный Юрий Яковлев, актер театра Вахтангова, в сопровождении народного хора с колоритными голосами Марии Мордасовой, Валентины Кладниной и восходящей в зенит Шуры Стрельченко. Передачи длились целый 1970 год, с переходом на следующий месяц, да вмешались бесы – претила русская нота. Тогда на популярном радио закрыли редакцию «Русская песня»; и гайку подкрутили – еще на одну винтку.

Коснувшись содержания своей автобиографической повести «Из малых лет», должен бы дать и некоторые пояснения. Дело в том, что спустя два десятилетия, когда она вышла в свет, кое-кто стал меня упрекать в упрощении имен, замене их прозвищами, а то и кличками. Умышленно ли это, или верность традиции? Ведь в повести, написанной от лица ребенка, говорит сельская улица, а там не принято кого-либо величать по имени-отчеству. А как принято? Устоявшимся прозвищем. Словесный жаргон вмнялся властями – им претила воздержанность совестливого человека. Впрочем, в семьях не принято сквернословить и безобразить – терять образ воспитанного мальчика, тихого и сосредоточенного; к тому настраивал и труд, в него впрягались все от мала до велика, слышанное от взрослых не забывалось, особенно что связано с событиями или случаями. Быт крестьянской жизни перекрывался весточками с фронта, ими-то и жили, а бедствовали как могли. Одним словом, панорама смятенных и страждущих душ того сельского лихолетья представлена в повести начистоту, без утайки. Не без натурализма, без него было бы лучше и обойтись в повести.

В ту же пору мне вздумалось прояснить для себя глубоко упрятанные, запрещенные у нас иные темы. Не страшился прояснять их с юных лет: занимаясь ими опять же для самого себя.

К примеру, увлекался творчеством Замятина, Солженицына, а вскоре заинтересовал меня духовный феномен Сергея Нилуса.

О поисках следов его жизни уже мною рассказывалось, а тут разве что поясню, как попали ко мне в руки автографы его сакраментального труда «Близ есть, при дверех...» с протоколами и толкованием к ним. О подлинной рукописи этой книги и не мечталось – сама привалила. А было так: занимался печатными произведениями этого автора наравне со всеми, кого знал: выступал перед публикой в 1990 г. вместе с философом Сергеем Половинкиным в кинотеатре «Меридиан» – полторы тысячи зрителей! Посещал с друзьями Оптину пустынь и так далее. Да ведь, наверное, так самому Господу было угодно. Заметили меня за океаном православные. Нашли в Первопрестольной и положили на стол толстый пакет, а в нем автограф рукописи, прежние издания – книги 1916 г., наполовину урезанные духовником писателя архиепископом Никоном (Рождественским), другие рабочие экземпляры этого издания, рисунки ко всем разделам, собранные и подписанные самим Сергеем Александровичем, и аккуратно написанный перечень материалам и их последовательность в содержании. Были в том пакете и сопутствующие материалы: рецензии, письма, важные публикации в периодике и собрание теософских брошюр. В целом весь архив этой последней книги С.А. Нилуса. Мне предстояло научиться читать рукопись, усвоить до тонкостей характер его письма, дать адекватный перевод иноязычных текстов (привлекал для этого верных знатоков), а подготовить рукопись к набору – вот тут-то и потребовалась осторожность. Пробовал снять ксерокопию – не пошло, наборщик не читал авторскую скоропись. Решил переписать от руки новые рукописные страницы, старался делать это не торопясь, одновременно выверяя тексты цитат, уточняя написание неизвестных мне фамилий и разного рода названий. Так и чувствовал, что Нилус знал, кто будет публиковать его рукопись, и мы сошлись в творческом редакционном процессе. Доверенный наборщик обналичивал печатным образом переписанные мною с оригинала тексты, я выверял их, вносил правку. Ни одна страница Сергея Александровича не пропала, всё хранилось у меня. Так создавался массив исследования. Ничто не потерялось: что было доверено мне, то через полтора года и вернул монаху Герману (Подмошенскому), истинному подвижнику Православного Слова.

Я сподобился знать отца Германа и насладиться его беседою. А о Серафиме Роузе мне посчастливилось написать отдельный очерк, помещен как предисловие к его книге «*Душа после смерти*». Впоследствии мне удалось издать полное собрание творений Сергея Александровича Нилуса в шести томах, с архивными разысканиями и специальными статьями, посвященными его биографии.

Но главное, что утешало меня, – хотелось поработать на духовную пользу наших людей, во славу нашей веры отеческой. Как же тут не рассказать о водителях совести, преподобных русских святых? И в первом ряду национальных подвижников – Серафим Саровский. Стал собирать о нем материалы, житийные, богослужебные и литературные, оставленные светскими людьми. Оказалось, таких текстов сохранилось изобильно. Особенно много их появилось в разных жанрах накануне и после Саровских торжеств 1903 г., когда на прославление Батюшки Серафима собралась в Сарове вся крещеная Русь во главе с Царем и его Императорской Фамилией. Молитвословия, задушевные рассказы и очерки, поэзия талантливо слетали с благочестных уст. Стал кое-что печатать из Серафимовой сокровищницы еще при прежнем строе в журнале «*Литературная учеба*». Ездили на поклонение в Саровскую обитель, был на встрече цельбоносных мошей в Дивееве, ликовал вместе с людьми столь отрадному событию. В 1993 г. вышел в свет двухтомник «*Угодник Божий Серафим*», составленный совместно с игуменом Андроником, внуком священника П.А. Флоренского. Церковная жизнь так близка была душе, что литературное дело – возратить моему народу отторгнутый пласт духовной культуры самобытной – стало делом жизни, призванием.

Памятным церковным событием стало празднество Святителя Иоасафа Белгородского в Белгороде, где возрождался и монастырь его имени, и его почитание. Надо было мне крепко посидеть, разыскивая источники для книги о Святителе. Всё важное, что накоплено со времени первого прославления, должно было войти в состав жизнеописания. Художественная часть и библиография публикаций по возможности разыскивались заново. Святитель Иоасаф и культура его времени – программа обширная, и необходимо представить ее хотя бы в общих чертах. Отныне библиографическая база публикаций об Иоасафе Белгородском приняла

окончательный вид благодаря усилиям М.А. Бирюковой, трудолюбивой и владеющей профессиональным навыком.

Как литератору, мне, по совести, вменялось в обязанность возвращать людям отчужденные по идеологическим причинам достойные имена писателей, оказавшихся за рубежом. Только так быть вместе всему талантливому и даровитому. Русские мыслители тоже должны вернуться в Отечество и послужить национальной цивилизации.

Разворачивался широкий фронт объединения интеллектуальных сил для создания полноценной жизни.

В ряду видных прозаиков, влачивших в эмиграции оковы изгнания и служивших верно русской словесности, был Леонид Федорович Зуров, чье творчество меня и привлекло. В своих повестях, очерках и воспоминаниях он предстает продолжателем бунинской традиции, собирателем фактов боевых будней, недавних или давно прошедших. А в лирических зарисовках Зуров проявился в полную меру как мастер русского простора и художник пейзажа настроения. Известны его этнографические исследования в древних Печорах. Благодаря трудам филолога Ирины Белобровцевой (Эстония) ожили и заговорили новые архивные тексты Леонида Зурова, оказавшиеся в Англии, этнографические исследования переиздал Андрей Пономарёв (Москва). И всё же первый и пока единственный однотомник писателя удалось издать мне еще в конце 90-х годов прошлого века в Москве, где была мною предпринята попытка представить и библиографию его работ.

Из крупных прибалтийских беллетристов русского направления остановился на творчестве Василия Никифорова-Волгина. Его уже вводили в круг чтения в довоенные годы. Но то было в тогдашнем зарубежье, а во внутренней России он оставался почти неизвестен. Нужно было переиздать его книжки с добавлением новых текстов его и о нем, требовалась также и критическая оценка современников и сочинения погромщиков и властей, приведшие к аресту и мученической кончине в сибирском лагере. Василий Никифоров-Волгин – талантливый православный писатель, изобразивший жестокую богоборческую порчу и поставивший в своих рассказах судьбы людей, не утративших стойкость духа верующих сердец, крепко держащихся правды, наперекор лютой действительности. Сборник «Заутреня Святителей» благочестивого прозаика

мною снабжен обширным перечнем его публикаций. Жаль, что многие из его творений пока недоступны и покоятся в архивах Нарвы и Таллина. Но начало положено, его рассказы полюбились и прочно вошли в литературный обиход чутких читателей.

Подошел срок издавать детский православный журнал. Назывался он «Купель». Эту благодать принимаем от рождения и всю жизнь вмещаем ее. Мы все, крещеные, носим эти дары, сопричастность к спасительной воле Святого Духа. Так что журнал должен состояться особенный, душепитательный. При мне редакция «Купели» закраивала второй номер. И он не должен походить на первый номер, напоминающий «Пионер» недавнего времени. Вместе с литератором Петром Паламарчуком придумывали, что коренным образом следует менять. Он формировал церковно-богословскую часть публикаций, а аз грешный – литературную. Нужны были добротные стихи и проза, да не те, что навязали на зубах, давно известные. Детская проза благочестивых писателей русского рассеяния привлекала задушевностью и мастерством. Тексты изучал, присматривался к тому, что сделано вдохновенно. Думал: раз понравилось самому, то подойдет и другому. Детские литературные вещи должны быть особенные – добрые по настроению, мягкие по талантливому исполнению, мудрые в поучениях. Довоенная детская периодика русского зарубежья сначала существовала и в Европе, и в Китае, где проживали изгнанники первой волны и среди них несомненные художники слова, видные церковные писатели и тонкие искусствоведы. Всё живое для детей – то наше! Впрочем, перепечаток в меру, упор надо делать на создание новых этюдов, познавательных повествований и звучных стихов. Оформитель «Купели» художник Ольга Стацевич нашла свой, ладный подход к подаче произведений разных жанров. Получился журнал привлекательный внешне и живой в содержательной части. В семье периодических изданий, а их возникло и потухло в разных местах немало, наша «Купель» держалась ряд лет. И всего вышло в свет 27 номеров. Что ни номер, то гостинец ребенку. О том и пеклись литературные дяди. И «Купель» – моя скромная издательская метка.

Надо было озаботиться выпуском педагогической книги, полезной взрослым и детям. Для этого подбирал тексты разных

благочестивых наставников, чьи тексты взаимодействовали бы в стремлении быть интересными и полезными. Каждый, кто раскроет страницы «Школы православного воспитания», убедится, что все они обращены на пользу тем, кто работает на ниве национальной культуры, познает и сохраняет национальные традиции. Учащимся предложены литературные тексты – стихотворения, рассказы и познавательные очерки, созданные даровитыми писателями, чуткими к движениям чувств юношества, наполненных идеалом прекрасного и благородного. На 600 страницах учащиеся и педагоги найдут редкие портреты, иллюстрации и картины из жизни старой русской школы, слова признательности людей, прошедших обучение в классах. Широкому кругу читателей предназначен наш сборник «Молитвы родителей о детях и о семейном благополучии».

В творениях великого духоноса Иоанна Кронштадтского найдется немало педагогических мыслей, ведь Всероссийский батюшка четверть века преподавал в городской гимназии и обладал огромным опытом наставничества. А его спасительные молитвословия легко обнаружить в проповедях и дневниках. Общаясь с учениками, он непременно приводил примеры молитвенного обращения к святым о подаче помощи в нуждах и призывал к благо разумию. Яркой обличительной речью отмечен его «Предсмертный дневник» последних месяцев жизни 1908 г., издан мною полностью в «Паломнике». Была также составлена «Летопись жизни и творений» великого труженика и патриота России, разработана база источников к его биографии.

Старался участливо отнестись к проблемам церковного искусствоведения, возвращая людям погубленных безбожниками деятелей православной культуры, исследователей иконографии и письменности. Были изданы изъятые труды искусствоведа князя Юрия Александровича Олсуфьева, собранные в книге «Икона в музейном фонде» (2006). В антологии «Православная икона. Канон и стиль» были представлены редкие высказывания русских искусствоведов относительно отдельных святых образов и дан свод печатных источников публикаций.

Открылась возможность вести в Интернете свою страницу. За последние семь лет в «Библио-Бюро» в содружестве с библиографом Маргаритой Бирюковой мы разыскали и пояснили десятки

имен писателей и критиков, отодвинутых и преданных забвению по идеологическим причинам. Без этих имен история Отечественной словесности неполна, ущербна. Возможностью воспользовались в меру своих сил.

Так проходят годы жизни исследователей, преданных Русскому Слову, ставящих превыше всего совесть и справедливость.

На спуске догмы: размышления самовидца

Наша школа рабочей молодежи на улице Образцова в Марьиной роще считалась нетипичной и старомодной, а по внешнему виду – далеко не стандартное строение. До революции в нем помещалась гимназия, потому-то и архитектурные украшения того времени, и даже школьный двор с его глубоким и тенистым проходом ничего общего со стандартными общеобразовательными заведениями не имели. Одним словом, всё старомодно, нетипично по тогдашним представлениям. И возникли занятия здесь лишь в 1950 г., так что наш выпуск десятого класса будет первым. Дотянуло до него человек 20 с небольшим, а поступало в три раза больше. В основном учились доброхоты вроде меня или дети репрессированных родителей, за что и как – здесь никто никого не расспрашивал. Дружим внешне, но с кем-то сближались по интересам. Девушки держались особняком.

А товарищем моим в классе был Геннадий Овдин, говорун, ухажеристый. Любил он слегка поэзию, немного рисовал. Но в свои 26 лет ни в чем не преуспел и не собирался ни во что углубляться, лишь бы быть на поверхности. И всё же с ним можно было о чем-то потолковать и перекинуться на уроках самодельными стихами. А стихи серьезные, заправские я искренно любил. Из живых поэтов увлекался Пастернаком и стихотворцами его круга. И вот глубокой осенью 1952 г. мы сговорились с Геннадием сходить домой к Борису Леонидовичу на Лаврушинский, где жили тогдашние светила. Выбрали подходящий день и пустились в литературное путешествие. Сперва зашли на Телеграф, взяли лежавший там «гроссбух» с телефонами и адресами всех москвичей. Нашли номер Пастернака и на всякий случай домашний телефон и адрес Владимира Луговского, поэта, известного по его сборникам 20-х годов; «Мускул» и «Страдания моих друзей» прихватил

у букиниста. Думаю, пригодится: если Пастернак нас не примет, пойдём к Владимиру Луговскому, в том же подъезде.

И вот пришли. Поднялись на шестой, позвонили. Отворил дверь кто-то из домашних, спрашиваем Бориса Леонидовича. Нам вежливо отвечают: поэт в Переделкине и тут неизвестно когда будет. Пошли ни с чем на четвёртый этаж к Луговскому. Опять звонок, выходит сторбленная старушка с просветленным лицом. Дала знать поэту, что к нему пришли. Он важно вышел, мы смущенно сказали, что любим его читать и кое-что свое принесли. Не раздевая нас, так в пальто и в калошах проводит нас в свой кабинет. Живой поэт, в свою литературную мастерскую ведет, это ль не событие? Оглядываю кабинет: вижу черкасское седло, фигурки Будды – как же, ведь «усмирял» басмачей в 30-х и даже сборник об этом выпустил «Большевикам пустыни и весны». И вообще много писал разного. На столе его вижу только что изданные три тома В. Стасова и стопку необыкновенных записных книжек. Все они сделаны по заказу и переплетены в шелковые ткани женских расцветок. Позже слышал, что это из кофточек возлюбленных женщин, собирал и увековечивал.

Владимир Александрович – человек представительный. Встретил почитателей ухоженным, в дорогом костюме, пошитом по его фигуре из ткани «метро», в лацкане металлическая «божья коровка». Движения мягкие, речь властная. «Ну, читайте», – это к нам. Овдин ожимается, толкает меня – начинай. А с чего начинать, соображаю на ходу. Ведь Луговской входил когда-то в группу конструктивистов, стало быть формалист по призванию. Прочту ему мое стихотворение «Бессонница», написанное в крайне тревожном состоянии. В своем летнем домике никак заснуть не мог – всё мечтал и бредил лишь одной особой, Багриль. Так, в горячке, и сложились полубредовые строки. Читаю.

Падают звезды в прозрачную синь,
Месяц в кустарник пускает зайчик,
Длинные тени от спящих осин
Густо сползают в овражный ящик.

Человек мечется, его душит спазма,
Кто-то сапожищами бьет у крыльца,

Зрачок запрятал на поверхность глаза,
Руки откинулись в два кольца.

Мягкая в душу сочится тоска,
Словно в дырявую лодку волны.
Чувствует: крошатся звезды –
И с высока, прямым ударом
Тысяча молний выстрелом глушат
Больное сознание.

Где-то деревни покорней слуги,
Свадебный поезд лошажьим ржаньем
Рвет колокольчик с горящей дуги.

Человек мечется,
Его душит спазма.
И нет его боли конца,
Бронхи наполнились до отказа
Раскаленной лавой свинца.

Поглядываю на мэтра. Молчит, сдвинул свои знаменитые брови, «Бровеносец», сделал знак – продолжай. О чем же еще? Думаю: раз не тронула его моя боль, надо прочесть что-нибудь о природе родной, другой моей первоизданной радости. Самый раз «Предвесенье», написанное в том же 52-м.

Рыхлый снег обласкан солнцем,
Жарок яркий луч.
Под бугром блестит оконце
Первых капель с круч.
Облака, светлей эмали,
Взор отвыкший
Вновь спят.
И раздвинутые дали
Вновь бескрайностью манят.
Где-то жаворонка трели
Радость славят с высоты.
По лощинам запотели

Вербные кусты.
Зима укрылась на пороге
За ледяной косяк,
А на обочине дороги
Ныряет пепельный русак.

«Пиши о русаках», – наставляет «Бровеносец». По душе мне
пришлась его подсказка. Дорожил ею, холил. Овдин вызвался прочесть несколько строк Луговского самому автору.

Луна стоит на капитанской вахте,
На сотни верст раскинулся прибой.
И, словно белая трепещущая яхта,
Уходит женщина, любимая тобой.

Литературщиной отдавало, впрочем совсем не противной,
почти как поглаживание.

В проеме растворенной двери проплыла важная особа в
шелковом халате. Мне потом называли ее – Грудцовой. И поэт на-
мекнул Овдину прочесть что-либо свое, но тот отказался, дескать
еще не дописано. Тогда Владимир Александрович взял с полки
журнал «Знамя», в редколлегию которого входил, и стал читать из
него свои последние стихотворения, посвященные середине века.
Взволновать они не могли, но ритм чувствовался. На прощание
велел прийти к нему в следующем месяце. Так, телефонный спра-
вочник познакомил нас. Тогда всё делалось просто.

Всё делалось просто и понятно. И многое делалось надолго.
О сталинских градостроительных планах уже упоминалось в связи
с возникновением капитально отстроенных, добротных городских
домов. Высотки подчеркивали целеустремленный стиль динамич-
ного десятилетия. В какой цивилизационный облик ни погляди –
всюду заметишь высокий стиль тех лет, выражающий, в соответ-
ствии с потребностями жизни, развитие самобытного таланта лю-
дей, еще не выпрямленных после гнета прежних догм. Развернулась
программа возврата людей к истокам русской классики, научной
и литературной. Готовились к изданию многотомные труды Мен-
делеева, полный Ломоносов в десяти академических томах, педа-
гогические труды Ушинского и публицистика Чернышевского.

Задумывалось, а вскоре и осуществилось 30-томное Собрание сочинений Герцена. Это лишь малая толика того, что делалось за каких-нибудь 15 лет эпохи высокого стиля, которую для краткости величают «сталинской». А в музыке что? И, если шире взять, в искусстве что? К юбилею Вождя, говорят, было написано 3 тыс. кантат, и среди них совершенно исключительное произведение великого Прокофьева. Даже в затхлой литературной среде встрепенулись, казалось бы, давно заснувшие авторы. Взять, к слову, замолчавшего до поры до времени наставника начинающих литераторов, переводчика первой руки Георгия Шенгели. Не сдержал выдоха старый словесник и выдохнул талантливое слово хвалы Вождю. И кто только не клялся тогда в хвалебных песнопениях в верности ему? Точь-в-точь богатырский эпос в былинном обличье!

Теперь, по прошествии стольких десятилетий, лично спрашиваю свою совесть: «Как же ты, десятиклассник, обладающий хоть каким-то жизненным опытом, мог написать такое скоропальчатое стихотворение, посвященное смерти Сталина?» Вот оно.

Лишь закрою глаза перед сном,
Слышу: ветер поет за окном.
Песня звонко гудит по ладам:
Смерть тирану, свободу рабам!
Кто же, ветер, тебя научил
Петь так дерзко в кромешной ночи?
Кто в тебя эту злобу вселил,
Гневной силой тебя напоил?
– Четко слышу: страданья твои!

Злые те строки сложены очевидцем разорения родного края, обильного от природы дарами земли, сильного людьми крепкими и не обделенными от рождения талантами, смекалкой и пригоже-ством. Словом, народ как народ, этнос, устремленный в живое будущее. А его-то и не получалось – под большевиками, окруженными живоглотами и лихоимцами. Комитеты бедноты – сборище душителей самодостаточных крестьян; в прямом смысле они были разорителями уклада и растлителями быта сельской общины, верховоды греха. Эти-то горлопаны, опекаемые сверху, пресекали живые корни семьи выверкой личного клочка земли, пересчитывали

и переписывали по семь раз каждого ягненка и каждого куренка. Кто держал корову, тот обязывался на все лето сдать по госпоставке 260 литров свежего молока на пункт, с жирностью «три и восемь». Травинки на обочине дороги не могли скосить. Чем кормить скотину, выкручивайся сам. Вся надежда на сор при прополке борозд да на картофельную ботву, срезанную и высушенную, – вот и весь буренкин пашк на зиму. Жнивья не дадут скосить, осоку на болоте – за всем догляд «активистов». А те клянутся перед образом Вождя, что верно исполняют его волю, и ни на шаг не отступают на послабление. И получалось так, что, проклиная окаянство, замордованная, подневольная деревня видела во всем этом злую волю «Светоча». Его-то и проклинала русская душа. И как разобраться труженице, что колхозный гнет во многом держался на своеволии горлохватов и оторвяжников из комитета бедноты, оседлавших совестливого крестьянина с помощью своего партийного кружка. Местные выдвигенцы подыгрывали верховным человеконенавистникам, были там и такие с избытком. Время от времени их осаживал сам Вождь, но и он порой поддавался порыву верного служения догме. Одумается вполне лишь в годы, когда «вареный кочет клонул» и апокалипсическая беда подкатила к порогу Кремлевской палаты. Тогда спасай, русский мужичок! Беда потерять всё «отучила пса возвращаться на свою блевотину». Глоток живительного воздуха прочистил зараженные сосуды, и «Светоч» предстал перед людьми в новом облике и в новом величии. И тогда заняла все мыслимые просторы аллилуйщина и глорификация с ее обожествлением любого периода жизни Вождя. За всем этим терялся исторический образ времени и стирались подлинные черты облика властного человека, укрупнились до вселенских размеров его волевые импульсы. И прозвище ему дано в простонародье – «Анчутка, анчихрист». То, разумеется, не подлинный Вождь, а собирательная личина супостата, дорисованная его прихвостнями, они же божились и клялись его именем. Поди разберись! Натурального Вождя никто из черносошных крестьян не видел и не представлял. А он оказался Мудрым и Отечестволюбивым в окружении ничтожных расхитителей его державных мыслей. Все с замиранием сердца ждали решений XIX съезда в конце 1952 г.

Помнится, как разочаровали меня, юношу, эти решения. Мистические формулы, отлитые в металле, искривлялись, теряли

смысловой вес. Обжигающие понятия – «Оргбюро», ВКП(б) – превратились в лапидарные словосочетания: Президиум ЦК (теперь там вместо восьми засело 20 человек), а потом, что за новостью неприличная – КПСС? Сакральный стержень ослаблен, пошатнулся, а с ним пошатнулась и вся догма. Народу-то она и прежде не была нужна – стояла поперек горла, но, умягченную, ее заглатывали партийные заводилы. И они растащили теоретическое наследство «Светоча» по своим красным углам и там ущербно мусолили отлитые в металле сталинские формулы. Назревал скат догмы Высокого стиля, сползание, потеря устойчивости. Пассионарные усилия и взлет сдвинулись на спад, как и сам Вождь, еле дошедший от стола к трибуне съезда... Его преемником оказался «размазня», Маленков. Но и при нем казенное воодушевление в рядах единомышленников пыталось закрепиться на освоенной высоте. Лишь крестьянин – стеновая жила этноса – держался в стороне, попинаемый отовсюду за старожильческий быт. Вот его-то внутренний диалог со стихией и старался я выразить в стихотворном отклике на смерть Вождя. Масштаб личности не усваивался вблизи, проступали одни гримасы века. Их было вдоволь, куда ни повернись.

Пора немного остановиться и на жизни нашего школьного товарищества. Мы уже третий год вместе учимся и набираемся ума-разума. Впрочем, некоторые «вечерники» давненько занимаются службой либо работают на предприятии. И серьезными были все как один. Бывало, придешь на Делегатскую к Фроловым и наглотался московского коммунального духа. А то усядемся на кровлю деревянного дома долбить учебную программу, а внизу на матрацах, прямо во дворе, спят жильцы – в перенаселенной квартире душно. Слышу выкрики медника: «Лужу, паяю, ведра подбиваю!» А то стекольщик комканно скажет: «Клей стукла» – поди разберись, чем займется? Догадаешься наконец: «Вклеиваю стекла»; заметил разбитую раночку, вот и кричит, предлагая услугу вставить стекло. А то придет с корзиной горячих пирогов маковница, и ее желанный голос слышится.

Но раз нам пришлось забраться на кровлю повыше, чтобы поглядеть, как по Садовому погонят пленных немцев. В оборванных кителях «штурмбаннфюреры», а за ними понурое поголовье солдат. Мы сидим на краю кровли, как и многие, а Валя Штейн-

шнайдер даже свесила ноги через край и аплодирует при виде конников, сопровождающих колонну «немчуры». Вдоль проезжей части Садового протянут канат, отграничивающий обывателя от пленников. Гонят их в сторону Белорусского вокзала, оттуда повезут в Восточную Германию. Уроженцы западной части страны еще посидят лет с пять, и кто выживет, тех отпустят по соглашению.

Но вообще-то на кровле никто в нашей компании унижению пленных не радовался, разве что повизгивала Штейншнайдер, самая смазливая из наших девушек. Живет она в общей квартире с Фроловыми, но дружбу водит лишь с Анатолием Масленниковым, служащим за сценой Театра Армии. Человек он замечательный, радушный, и Вале подходил. Ее отец ттец на радио, с хорошо поставленным голосом, но вот невидаль: отталкивает непривлекательной внешностью. Из-за этого на сцену он не выходит – стесняется, а вот на радио самое то. Включишь утром черную тарелку и услышишь его голос – читает «Пусть светит» Ванды Василевской. На наших школьных вечерах выразительно читал поэтов казенного образца, рассказывал веселые историйки. Валентина его, пока училась, вышла замуж за Масленникова и не пожалела до поры до времени. А потом расстались. Агриппина Семеновна Воробьёва, директор нашей школы, уникальная по своей доброте и педагогическому опыту. Мы все искренно ее любили и почитали, а она, бывало, по-матерински погладит тебя по голове и скажет несколько нужных слов. И все педагоги школы заряжены таким же духом дружелюбия и разумной требовательности. Спасибо всем! Думаю, что благоприятная атмосфера заведения несколько приподняла пригнетенных потерей близких людей, – пропали в чистках. Конечно, молодость и работа сглаживали многое в обидах. Один Овдин был ровнехонько всем доволен и внешне сиял счастьем. Подомнет какую юбку – доволен, забежит в гостиничный буфет освежиться – тем более. В свое удовольствие живет, фантазия у него неумная, вот опять встрапилось ему сходить послушать, как читает стихи поэт. Мне вроде бы ни к чему громогласная лира, но соглашаюсь наведаться на Лаврушинский. Опять нам отворит дверь «конек-горбунок» – так Луговской ласково называл горбатую старушку, жившую у него домработницей. Слушаем его с почтением. Овдин назвался не Геннадием, а Генрихом – так, на его взгляд, литературнее.

Облизывается от предвкушения «Генрих», а Владимир Александрович молчит, сделал знак в мою сторону: читай! Смекнул я, ведь о природе надо было, что ли? Но нет подходящего, попробую вот это. И начал:

Глухая ночь в объятиях сна,
Лишь звезды смотрят с небосвода;
Живительным лучом одна
Горит у яркого восхода.
В такую ночь мне страшно жить,
Как-то особенно опасно:
Звезда горит, как луч, алмазно,
И время вечностью бежит.

Помолчал поэт, взял с полки свежую «огоньковскую» книжку и сделал мне дарственную надпись «на доброе знакомство». То был январь 1953 г., время моего влюбления в поэзию, осторожного общения: удержусь ли на спуске? Уж больно громко вслух разглагольствовал с книжным Яковом Мордковичем, упрямым читателем и человеком, верным на слово. Провожал он меня до третьего троллейбуса на Пушкинскую улицу. И ехал я, мечтая о ком-то или заглядывая в стихи Эмиля Верхарна, переводчик Георгий Шенгели. Бельгийцев обожал читать – и стихи, и прозу. Но в душе между тем на первом месте она, Нелли Багрий, моя Дульсинья Тобосская. И, как свихнувшийся Дон Кихот, только и мечтаю о ней, несравненной. Вспоминаю, как третьего дня она вошла в институт в обнове – на плечах мантия из каракульчи, с подкладки слегка повеяло тонкими духами, несколько равнодушная, в деловом настрое, и на мое обыкновенное «Здравствуйте» ответила сдержанной улыбкой – прожгла всего. Какой же я никудашный, ничем достойно ответить не могу – боюсь вмешательством повредить, ведь и так перебивают наши косточки. Впрочем, в научно-производственном учреждении тогда старались все держать себя чинно и шашнями не занимались. Институт разрабатывал проекты комбинатов по выпуску текстильной продукции – располагались в городах ткачей. А художественной росписью тканей, изготовлением состава несмываемых красок приятного запаха занимались в лаборатории при фабрике – филиале института. И мы, сотрудники его отдела, ходили туда

изучать процессы набивки рисунков, прислушивались к производственникам, важные их пожелания все брались в расчет без особого промедления.

Моя конечная остановка 50-го трамвая – «Военная академия». Иду я возле нее, поглядываю на давно знакомую надпись, выбитую чуть не через всю каменную стену: «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому. Сталин». Надпись выдолбили в 30-е годы, тогда же по концам академического здания на постаментах поставили грозные танки. Часовые с отомкнутыми штыками возле дверей. От этой остановки надо мне пройти до клуба «Каучук», свернуть в короткий Тружеников переулок и выйти на Большой Саввинский, к своим дверям проходной (дом 12). Всё отлажено, делалось почти автоматически. Человек-автомат – чем не идеал!

Но, видно, Господь насылает испытания. Вскоре после рядовых дней службы меня привлекла по дороге кучка людей возле расклеенной «Правды». В газете читают экстренное сообщение Правительства о болезни И.В. Сталина, слов на бумаге немного, а весь мир будто от удара покатился по спуску. Тяжелое предчувствие.

На утро 5 марта радио тревожно передало: Сталин умер. Оделся – и в институт. По дороге вижу скорбных людей, хмуро переживающих страшную весть. В чертежном зале слышны женские всхлипы, ведущие конструкторы уткнули лица в ладони, а у Кудряшова, моего провожатого по святыням Новодевичьего, проступили крупные слезы и падают в ладони, как чурки. Горюем молча. Собрался ехать в школу – что там? Переезжаю на трамвае Тверскую, поразила множеству людей, шествующих к центру столицы. Живая река опечаленных и сосредоточенных горожан. А в школе кипение голосов вокруг вопроса: как пойдём прощаться? Перебивая друг друга соображениями, наконец договорились при Агриппине Семеновне: от нашего класса выберем двоих – меня и Овдина. Когда стало известно, сколько времени отведено на прощание с Вождём, – у меня сплошное недоумение. Пять ночей и дней оплакивала Ильича племянница Троцкого Вера Инбер, а тут всего-то трое суток. И кого хороним!

Венки, панихидное пение Большого театра, лафет с соратниками по бокам, конное сопровождение – всё это будет немного

позже, а накануне похорон главное – пробиться в Колонный зал, взглянуть на «черты портрета дорогого» – строчка из придворного Твардовского. Но какое там «взглянуть» – на пушечный выстрел не подойти. Пытались с Генкой Овдиным поближе к центру приблизиться, но дальше котловины Трубной площади не продвинулись. Она от нашей школы, почитай, в одном околотке, вот и пошли туда. Но уже на подходе столкнулись с почти неодолимой преградой. Все переулки перекрыты броневиками и грузовыми машинами, сомкнутым строем держится конная милиция. Толпы скорбных людей не шли, их обезумевшая живая сила выносила куда придется. Стараюсь, как и все на ближнем подходе к «Трубе», переползти под лошадью или под машиной, чтоб отдалиться от разъяренной толпы. Надо переулками пробиваться к Сретенке, а там бульварами, может, удастся на Пушкинскую улицу попасть, а там и в Колонный зал. Овдин не стал прикидывать, где лучше приблизиться к самому Центру, и с размаху рванулся к Трубе, смешался с потоком и исчез с глаз. Никто тут никого в ужасной толчее не найдет, приливы людей колышутся, нажимают, стремясь вырваться на продух. Но не вырваться из этих схлестнувшихся потоков, одна волна перекрывает другую, и тут же подваливают более мощные волны. Людей затаптывают такие же или кто по сильнее. На Тверском в давке расшибает людей о гранитные тумбы и фонарные столбы. Горе смертью оборачивалось, удушьем и костоломом, если повезет.

Овдин попал на Трубной в самое пекло. Он как мог спасался, и его не щадили: карабкались на плечи, валили с ног, но устоял. А кто оказался под ногами, тех затаптывали. Не помогали ни спортивная выучка, ни рост, ни сила приличная, – подминает свалка, и кто внизу – обречен. С ожесточением пробился Овдин к обочине Трубной, и там его босиком, в разорванных штанах (лезли-то на него в подкованных ботинках, подбитых гвоздями) еле живого вытеснили на Рождественский бульвар. Тут-то хоть в подъезде спрятаться. В открытую дверь вошел, а внутри никого, только мертвецы – их с площади в подъезды стаскивали. Гробовая тишина, только часы на руках у задавленных продолжают тикать: тик-так, тик-так. Так не так, перетакивать не будем! С тем и вышел наш Гена Овдин на бульвар. И горько заплакал. Может быть, от мертвого подъезда? Меня толпа кружила переулками и вынесла на

Колымажный двор, к Музею изящных искусств, где недавно побывал на постоянной «Выставке подарков Сталину» – занимала весь второй этаж музея. С Колымажного добирался домой и лишь затемно добрел до Бутырского хутора.

В школе рассказов о московских похоронах уйма. Поползли слухи о тысяче людей, задавленных на Трубе, и как самосвалами вывозили сдернутые калоши и скинутую обувь, кучи пуговиц и обрывки одежды. Печаль о погубленных жизнях – вот что скорбило. Не продумали временщики, как такое всенародное шествие организовать, чтоб провести с умом, чинно. А они дележкой заняты, некому думать на спуске державы. Срыв с высоты на спуск – послесталинская реальность.

Своими путями-дорогами

Сразу по переезде в Москву в 1950 г. потянуло меня записаться в ближайшую библиотеку, чтобы читать книги по своему выбору. Такие библиотеки были поблизости. Одна из них, наша районная, находилась на углу Новослободской и Лесной улиц и считалась представительной. Чем плохо посидеть там в тиши и брать, что выберу? Во всех районных, где побывал до этого, обыкновенно находил что-то желанное, а в этой мне по нутру была неплохая подборка книг поэтов-модернистов начала XX в. Вот сижу и читаю Велимира Хлебникова и, тоном задиристей, Василия Каменского. Зачем нужно? Да ни за чем, просто для себя. Ведь в городе живу и от всего простодушного, приземленного начинаю отвыкать. Вот и копаюсь тут в старье 20-х годов. И публика тут подходящая к месту – испытые в неволе неопределенного возраста старички в пристегнутых булавками лохмотьях будто поясняют выражение: «Не гляди, что обтрепаны рукава, да ухватка какова!» А она у этих читателей проявлена четко на фоне того, что вижу в окно... А вижу одно и то же: стену кирпичную, отделяющую Бутырскую тюрьму от города с его улицами и людьми. Стена ставлена в старое время, но исправно служит и в наши дни. С Лесной сюда въезд воронок, и из окна читального зала мне видно, как они въезжают и выезжают. Иногда по дороге к тюрьме воронок забарахлит, не «хочет» ехать, тогда к нему подъезжает другой, и надзиратели переводят заключенных из одной машины в другую.

Всё, что происходит за зубцами высоченной стены, обывателю неизвестно. Читаешь себе, ну и читай!

И всё же подобрал себе другую библиотеку. Расположена она на Суцевской улице, в особняке художника Боголюбова. Видно, справно жил в старое время живописец сей, изобразитель батальных и морских сцен, если сумел поставить тут весьма симпатичный каменный дом с широкими итальянскими окнами и коваными дорожными воротами, при собственном вишневом садике, обнесенном основательным каменным заплотом. Всё здесь чисто, по возможности ухожено, под приглядом сторожа. Правда, никакой сторожевой охраны в усадьбе теперь нет, и пустая сторожка сиротливо виднеется для порядка. А в самом доме, при подъеме на второй этаж, вдоволь налюбуешься избранными классиками в кожаных переплетах с золотым тиснением. Тут тебе и Шекспир, и Мольер, и Пушкин; впрочем, больше всего меня привлекал Байрон: любил его в русских переводах и даже заучивал. Сам читальный зал светлый. Сквозь протертые зеркальные стекла льется тихий благодатный свет. Дубовые столы поместительны – всё располагает к внимательному усвоению прежней словесности. А для углубленных занятий в библиотеке отведен отдельный кабинет с набором словарей и справочников. Из всех доступных книжных уютов нашего районного околотка эта библиотека больше других устраивала меня в 1950, 1951 гг., и как ни скудно было со свободным временем, каждый перерыв в занятиях старался урвать для себя именно здесь. Классики на выбор получалось достаточно, а современной окололитературы сторонился.

Никакой штатной работы у меня тогда не было. После неудачи с поступлением в Школу циркового искусства мы с другом Ваней Якуниным пошли временно потрудиться к своим отцам – рядом с жильем. Тут всюю громыхала лесопилка, да и в столярной мастерской найдется дело. В столярку-то нас и устроили, а вечером будем ходить в школу рабочей молодежи, что тоже нам подходило. Научиться чему-то реальному, пусть и в столярке, привлекало началом овладения ремеслом. А начинается оно с заточки инструмента. Ближе к вечеру мастеровой правит, затачивает и наводит на оселке режущую кромку рубанков, стамесок и долот. Топор, само собой, должен быть наострен и прочно сидеть на рукоятке. Наводят лезвия на точильном бруске, у заправского мастера

должен быть свой камень. Ходят за ним на Пресню, к мосту Шмидта. Только там и есть настоящий природный точильный камень, брусчатка им выложена. Нужен-то тебе всего один брусок, но с дороги не возьмешь, а надо поискать по обочинам, может и повезет. Это мелкопесчаный известняк, крепкий и въедчивый в сталь лезвия, только смачивать не забывай. Хорошо отточенный топор потягается с бритвой – так остер. Говорят, можешь бриться топором, да ведь скоблить на скулах еще нечего. На первый день задание простое, для себя. Мастер наставляет: сделаешь книжную полку, а назавтра займешься табуреткой, и тоже для себя. Крепкая должна получиться, не шататься, чтоб сидеть твердо всю жизнь. И запомни: столяр с гвоздями не работает, всё делает на клею. Вон клеянка, а в ней застывший клей, разогрей и смазывай заготовки. Покажу, что и как делать. Половину зарплаты будешь отдавать мне за научение, половину тебе. А сейчас сходи на пилораму, к отцу своему, погляди, чем там занимаются. Дядя Сергей, отец Вани Якунина, человек строгий и рассуждать долго не любит.

Что там, на лесопилке, делается, я уже усвоил почти досконально – ходил туда не раз. Еще на подходе к огромному сараю слышно, как ухает и визжит пилорама. Огромный еловый кряж, взваленный ломами на низкие вагонетки, подкатывают к зеву пилы, и когда комель бревна оказывался слишком широк и в раму не входил, его выступы, превышающие размер, срубуют топором, чтобы просунуть в зев рамы. Зубчатые вальцы подхватят лесную уроженку и прямехонько потащат к стоящим в ряд полотнищам пил (по-старинному – к поставам), а те, вгрызаясь стальными зубьями, распустят бревно на доски, толщиной как задумано: на тес – двадцатку – одно дело, на половую плаху – шестидесятку – другое, распиловка на брус – самое легкое для пил движение. Ведь пропилил бревна на несколько досок делается одновременно, и протянуть поставы мотору было бы невмочь. Ему на помощь на раме приделан тяжелейший противовес, который, сбрасываясь, облегчает мотору протащить все поставы на сантиметр пропила цельного бревна. Ухает противовес, визжат пилы, отмечая своим грохотом каждый пройденный лаг. Бывает, что и неладное случится. Вдруг зуб пилы наскочил на пулю – застряла в стволе, ведь дерево стояло в лесу и «воевало» в ту или иную войну. Сорванный зуб пилы, с полпальца длиной, с такой скоростью отлетает, что убьет наповал

любое существо, если б не защитный колпак, привинченный над пилами. Так, сантиметр за сантиметром, и пройдет сквозь всё шестиметровое бревно. Необрезные доски годятся разве что на обрешетку, а обрезные из бруса – тес – самый востребованный товар, зато и в отход сбрасывается много.

Тес свозит к штабелю татарин Бабай на своей упитанной и вычищенной черной кобыле по прозвищу Цыганка. Добрый и всегда благожелательный этот старик. При лошади, да на телеге – куда как свычно отвозить опилки! Семья Сигбатуллиных – наши соседи по жилью. И всегда здесь все ладят и внимательны друг к другу. Отец мой, Николай Яковлевич, мастер по наладке ленточных и циркулярных пил. Он и над разводкой зубьев поставов хлопочет, и за ходом вагонеток следит, и бревна с помощником к раме подкатывает, и тяжелые свежие доски помогает оттаскивать к стене сарая. Не курит, не пьет, всегда в деле.

Затачивать ножи для строгального станка – тоже его работа. Станок не только выглаживает доски, но выбирает и четверть, и шпунт, только наладь покрепче, кабы из деталей что не сорвалось. В столярке же всё новое, привезли из Германии. У немцев взяли и универсальный станок для столярных работ. На нем всё делают: и пилят, и режут, и строгают, и даже без долота, цепью с режущими зубцами, всевозможные долбежные работы выполняют. Вот только что занимался я своей табуреткой и, не отходя от станка, всё по-ученически старательно сделал: бруски для ножек постругал, заглублина для шипов поперечных планок подготовил, дощатое сиденье собрал. Осталось клеем мездряным заготовки смазать. И всё готово, без единого гвоздя. Столярному искусству учусь с примитива. Да и придется ли мне до тонкостей доходить, ведь работу для себя, более подходящую нашей мечте, мы всё равно будем подыскивать; еще не знаем, какую именно, главное, чтобы была поближе к литературе. Но пока с охотой беремся за всё, что предлагает строительно-монтажное предприятие, где трудятся наши отцы.

Вот совсем простое дело – обнести плотным забором будущий молочный комбинат. Его пока нет, и он только помечен фундаментом довоенной поры. За бетонными стенами колышется во всю ширь глубокий бассейн, в нем мы постоянно могли плескаться и, ныряя с открытыми глазами, наблюдать за плавающими рыбеш-

ками. Откуда они взялись, ведь сюда ничто не впадает – бассейн замкнут стенами? Потом сообразили. Этих рыбешек тут развели... чайки. Вот они летят с озера Киёво на Лобне (от нас недалеко), и на лапках перенесли икринки карасей. А на озере том, кроме карасей, чаек и другой летающей живности, ничего нет. За чаечьими яйцами туда мальчишки ходили в голодную пору. Так-то и дознались о зарыблении этого пустынного бассейна.

Мы с Ваней Якуниным еще не весь длиннейший забор приколотили, как тут загромыхла стройка. Появилась камнедробилка – разбивает и перетирает дикие камни, добывая цементную муку. Насосом слили бассейн, обнажив на дне целый слой золотых и серебряных карасей. Ведрами таскали наши соседки даровую рыбу, – неплохо ведь?

Книжная полка, изготовленная в столярке мною для себя, оказалась добрым знаком, сопутствующим мне всю жизнь. Этот знак положил начало захватывающей страсти собирать и любить избранные книги, что помогают постигать дух затронутого времени, оживлять образы замечательных людей и наблюдать смену литературных вкусов. Библиофильство сдружит меня с такими ж пылкими разыскателями сокровенной словесности. Но это станет потребностью только потом, спустя годы. А пока лишь подступы к самостоятельному видению. И лишь через труд и самоограничения можно протолочь тропинку к этому кладезю мудрости. Предстоит мучительная обработка «дикого камня души», а он у меня первобытный, не тронутый познанием. Всё свободное время провожу в библиотеках, пока районных, главным образом в той, что в особняке художника Боголюбова на Суцевской трамвайной улице. И к собственному собранию книг только приступаю, этому периоду предстоит продлиться и десять, и пятнадцать лет. Но главное – книжная полка, изготовленная своим ремеслом, начинает пополняться книгами. И первым закладным камнем на этой полке будет томик стихотворений Федора Ивановича Тютчева, так-то и должно было быть. Тютчев – вселенная отечественной изящнотворной словесности, с него мне и начинать. Собирал всё, что попадалось, а было этого совсем мало. После узнал – под запретом вся его публицистика. А стихотворения издавались хрестоматийные, без новых разысканий. Старая филологическая школа какое-то время им еще занималась, но и ее подвижничество

исчезало и держалось на прежних разысканиях, да и до них мне еще надо дотянуться, дорасти. Пока, в самый почин 50-х, твержу как молитвослов томик, составленный правнуком поэта Кириллом Васильевичем Пигарёвым. И люблюсь картинами сезонных явлений в роще и даже у себя на участке. Дали 15 соток на месте, где будем строить Останкинский молочный комбинат. И уже строим. Старик Бабай еле успевает отвозить тес, его мы с Ваней подаем со штабеля и укладываем в телегу. Один подает сверху, другой укладывает. Цыганка только фыркает от удовольствия возить такую поклажу. Начинают наши мужички выкладывать опалубку над осушенным бассейном. Скоро тут закипит большая стройка.

Но новшество не без потерь. Пока вокруг была тишина и уют, на участках в этих местах выращивали картофель, пасли живность, в основном коз. А как надвинулась стройка, с нею и беда приспела. Тетя Тоня Навесова как-то собралась серпом нажать сочной травы для своей козочки, пришла на свою делянку, а там какая-то проволока под ногами мешают. Ну-ка, думает, откину ее. И только прикоснулась – сама упала замертво. Пустились наши поднимать ее, и кто-то толкует вслух: «Током долбануло, взялась голый рукой вон за ту проволоку». Надо, говорит, слегка прикрыть тетю Тоню землей, так скорее из нее электричество выйдет. Попробовали прикопать под рев ее детишек, да и соседи все взголчились – заголосили, запричитали. Не помогла земля попорченная, отступились люди.

Всю вторую половину 1950 г. провел днем на стройке, а вечером в школе. Выходные в полном моем распоряжении. Тут уж я сделался прилежным читателем самой крупной московской государственной библиотеки, Румянцевской по-старинному.

Прохладным вечером молодые мужики кучкуются в играх за столом. Либо режутся в карты в «подкидного», либо в лото. У заводилы мешочек с деревянными фишками, картонные карточки с цифрами, с единицы до 90. Кричит громко, везде с одинаковыми причитаниями. Числа здесь выкрикивают под условными названиями. Вот и доносится: «утята» – значит 22, «туда-сюда» – 69, «жиды» – 33, «дед» – 90. Все числа переберут, пока кто-то не завопит: «Фатера!» – квартира. Осталось последнюю фишку поставить, и кону конец. Играют без денег, просто так, отдыхают. Наших людей за играми мало, больше чужих из соседних жилищ и

общежитий. А наши всё больше в скотном двореке, где у каждого семьянина с десятков кур и поросят, а то и два. С ними не до игр. А потом, и воды надо натаскать, и дров назавтра наколоть, ведь варим-то в духовке, керосинок и самодельных электроплиток избегаем. Свободный разве что Минёк Царьков. Он сидит на заваulinке и «Тёркина» малышне читает, а те переживают военные сцены.

Приладилась я ходить в Некрасовскую библиотеку на Арбате. Просторно там на втором этаже, и выбор книг для чтения обширный. Беру поэтов, в числе заветных Александр Блок и воспоминания о нем. Для себя даже надпись составил в тетрадке: «Блок – головокружительно высок!» Пробую полюбить персидских поэтов – Саади, Низами, Омара Хайама. Ведь переводческая отечественная школа стояла на высоте и восточных классиков перелагала истово, чтобы не заниматься сомнительным сочинительством. Всё больше втягивался читать книжки о жизни композиторов, подтолкнула на это монография, посвященная Ф. Шуберту, его песенки легко входили в душу, трогали. И мотивы были сродни душевному подъему. В Некрасовке снова вернулся к персам: за несколько походов одолел все восемь томов сказок «Тысячи и одной ночи», изданных в академическом варианте. Увлекательное чтение подвигало взяться за русское сказочное наследие, но к нему надо подготовиться заранее, а сейчас времени и знаний не доставало. Отложил на потом.

Проснулась охота творить самому. Уверовал в то, что личный опыт позволит полнее воспринимать мастерство избранных литераторов. Технология чтения сродни технологии стихосложения. Скрепляется она образностью и развитием сюжета. Вот и взялись рождаться и множиться самодельные мои строки, набросанные наскоро на последних страницах школьной тетрадки, на клочках бумаги, всунутых в карман. Развернешь лоскут, а там записанная строфа:

Опять моя сторонка
Рядами тополей.
Взлетает стая звонко
Точёных голубей.

И сразу вспомнится родное село и плачущая моя Бабушка. Всегда провожает в слезах, с просьбой к Господу, «чтоб остался Груздочек мой жив». Тут уж прибавляю от себя, как тошно расставаться.

Час последний к концу истекает,
Остывает на лбу поцелуй.
И моя уж слеза орошает
Щеки жаркие в несколько струй.

Важно было исторгнуть из души печаль разлуки, не совсем брошенности и потерянности в омуте городских ощущений. Отчаянность утихает, как только блеснет хоть краешком нетускнеющая картинка живой природы, усвоенная с детства. Пробую изобразить в словах.

Дождь прошел –
Роса в колено.
В лужах бродят облака,
Дышат влагой упоенно
Освежённые луга.

Иногда под пером возникают как бы целостные картинки, еще не проработанные духом, зато искренние по настрою и выверенные на слух.

Вот одна их них.

Легко мне в поле дышится,
Когда кругом колышется
Рожь в человечесий рост.
А в небе заливаются
И камнем вниз бросаются
Пернатые певцы.
Цветет гречиха белая,
Медовым воздух делая,
Манит пчелиный рой.
Всё гордым счастьем полнится,
Всё поле морем волнится,
И заиграл улыбкою
Мой край родной!

Разумеется, родной край, как и в прежние годы, одолели туга и горе, но всё же достояние Божие в краю, где родился и рос, – мое. И небо, и воды, и зелень приволья – всё мое, от пращуров.

А я их сын.
И в мудрый храм
Хочу свою поставить долю...
И тяжкий плуг сердечных ран
Тащить по умственному полю!

Так и тащу, напрягаясь. Родина в душе живет, впрочем в действительности ее уже, по существу, нет, и повержится, предстанет разве что в остатках памяти да в нетленном величии нашего степного неба, озаряемого порой молниями и оглашаемого яростными ударами грома. Печально молчат пустынные улицы, дичают. Вот уж истинно: туга и горе одолели. Необорим и тлен в человеке, род взывает воскресения.

У нашей столярки спешный заказ – надо делать оконные рамы и двери, вот и заняты все наши заготовкой брусков и планок для перемычек, выстругиванием фасок на немецком универсальном станке, долбежными работами и подгонкой филенок. И мне досталось подвигаться и не робеть. В свободные часы собираю для любопытства образцы разной древесины, стараюсь запомнить текстуру – характерные признаки породы. Уже есть у меня небольшая коллекция древесины лесных пород – ясеня, старого дуба и вызревшей ели. Ну и, конечно, представлены клен, лещина, вяз и рябина. Издавна люблю присматриваться к естественному облику древесины, раскрытому рукою мастера резцом и рубанком. И даже как-то пробовал в сельские годы смастерить балалайку. С клена срезал зимою толстый сук – будет гриф. С замета снял широкую доску, выстругаю, отполирую – чем не дека? А клинья для кузова буду вырезать из того же клена. Со струнами проблем нет, возле механического двора вдоволь кусков провода в оплетке. В них жилки стальные, для звонкой балалайки надобны струны тонкие и чуть потолще – голосовые и басовые. Всё отыщется.

Клинья вырезаны, подогнаны, склеены и прилажены к грифу. Осталось сделать колки, врезать в гриф лады из расклепанной

медной проволоки и напоследок изготовить кобылку для подъема натянутых струн. И вот он, твой струнный музыкальный инструмент! Конечно, смастерил неважно, зато своими руками. Гудит как заправская, с переливами. Размечталось вдруг: вот буду в Москве, пойду в Консерваторию, поглядеть бы в мастерской на умелых мастеров, делающих настоящие, высокого класса музыкальные инструменты. Пишут, что в Московской консерватории есть такая мастерская, и при ней – лучшие умельцы раскрывать и освобождать волшебные звуки, до времени спрятанные в древесине. Только бы поглядеть, если допустят. Но мечты мечтами, как бы пылки они ни были, а всё же о будничном надо печься. Помогаю Великим постом добывать кормочек корове и овцам. А где взять? Одна надежда на остатки свезенных скирд. Смерзшиеся ковриги соломы раздергиваю и горсточкой на веревку порядком укладываю, чтоб вязанкой припереть ко двору. Хорошо, что убираем хлебостой с сорняками – пойдут вместе с обмялем в корм овцам. С окончанием сельского житья-бытья всё это уходило для меня в прошлое. Стишки свои изначальные свернул в трубочку и сунул под застреху в сенах. Балалайку велел себе порешить, вынес к погребнице и хряснул об угол так, что струны испустили звон, похожий на плач. И на этом и прости-прощай, деревня! В столице будут другие голоса, будут другие мечты...

А реальность там вторглась другая: одной рукою паши, другой сей. Возводят Останкинский молочный комбинат не быстро, но уверенно. Уже перекрытием второго этажа люди заняты, и среди них несколько моих односельчан. Бывают и несчастья. Так, наш тарадеевский старательный мужик Миколя Журавлёв осмыгнулся на лесах и свалился с высоты и расшибся насмерть, ударившись головою о штырь арматуры нижнего перекрытия. Горе, да и только. А нам вдвойне его жалко – приходился недалёким родственником. Когда жили в селе, знались и продолжали зняться и в Москве. А город исподволь пожирал людей, калечит.

Единственная моя отрада и настоящая радость – Румянцевская библиотека. Сразу записали в общий читальный зал, хотя по возрасту я подходил лишь в юношеский – 18 лет не исполнилось. А поскольку у меня трудовая книжка есть, работаю и учусь, таких оформляли как достигших совершенного возраста. Паспорт, прописку, трудовую книжку получил – теперь ты самостоятельный

человек. Гордо я прошел в раздевалку, снял калоши и прошел на контроль, показал свой читательский билет, получил входной листок. Пошел наверх читать. На лестнице обратил внимание на мраморный горельеф с выпуклым изображением Румянцева-Задунайского, чье имя искони носит это общественное заведение. А на подступах к залу вижу вазу яшмовую. Отчужденна надпись. Сработана в Кольвани. Стоило выяснить для себя, где Кольвань и что за важная яшма такой величины.

На многие вопросы в своей жизни, вскипавшие именно в этом прекрасном зале, находил ответы. Шел 1951 год. Искал и не находил ответы на другие вопросы. Но в блокноте уже вывел заглавное слово «Поэзия», само стихотворение напишется позже, когда одумаюсь и настрадаюсь в душе. Только через страдание и боль сердечную познается поэзия, а она еще не опробована внутренним опытом, не сложилась в музыкальном строе. Начертал лишь тему, а выразить чувства пока никак не удалось. Но заглавие не дает забыть и через какое-то время заговорит строфами.

Мне от счастья нечего терять,
Разве только тяжесть сладкой боли:
Я устал без трепета шагать
С мыслями по клеверному полю.
Я устал сметать росинки слез
Со стихов своих немногословных.
Сколько было песен, сколько грез
На дорогах, от ненастья черных.
Всё покрылось дымкою годов,
Всё откинулось в туман воспоминаний,
Только лишь по-прежнему любовь
Мне диктует музыку страданий!
Где ж слова для лепки наших чувств?
Или кто-нибудь давно их пропил?
От рожденья я во тьме искусств
Сердцем выстрадал твой тонкий профиль.

Так с одним заглавием и ходил по залам, знакомился, полный восторга и умиления. Предстояла жизнь в других измерениях.

Мой друг Воронов

Разумный и содержательный, такой был Олег Воронов, мой старинный и добрый приятель. И умелец во всем, а всего в нем было много. За что ни возьмется, сделает тихо, на совесть. Была у меня с ним неожиданная встреча через много лет и даже десятилетий. Было это в 70-е годы, в редакции скромненького издания «Человек и природа»: выпускались издательством «Знание» тематическими подборками. Каждую серию вел один человек. За год скапливалась целая стопка выпусков, некоторые целиком составлялись мною. Сдружились все, и каждый новый автор мог войти в этот круг, ежели увлечен родной природой. Олег Воронов пришел в редакцию с охотничьим рассказом, вполне зрелым и убедительным в деталях. Пригляделись мы друг к другу. Ба, да это тот самый Воронов, с кем четверть века назад поступал в Школу циркового искусства. Было то в 1950 г., в пору нашей ранней юности, тогда я только что приехал из родного села на шестнадцатом году, переполненный разными мечтами, совсем наивный. Мой сельский одноклассник Ваня Якунин, постарше меня года на полтора, придумал стать циркачом и уже начал готовиться к поступлению: ходил в Останкино, в парк, и там на траве кувыркался, ходил на руках, изображал «солнышко», поворачиваясь в прыжке. Сманил и меня попробовать, да вот гимнастика такая занимала мало, но уж очень любопытно поглядеть, как этому учат. Итак, в Школу циркового искусства пойдем... Любопытство раздрает, и необычного хочется, не того, что вокруг у нас, на Бутырском хуторе.

И вот мы пришли в Школу циркового искусства, что на Пятой улице Ямского поля, недалеко от нас. Входим, ожимаемся – и сразу к директору Брусиловичу, мол, так и так, хотим сделаться артистами цирка. Таких желающих мальцов немало дождалось беседы. А он с нами задерживается, спрашивает по-озорному: а что умеете, где побывали? Якунин рассказывает о своих упражнениях на турнике и о выкрутасах на лужайке. А у меня и этого ничего нет, промямлил смущенно, что в школе ходил на физкультуру, любил подтягиваться на турнике, делал «уголок», читал стихи. «Хорош, хорош, – говорит Брусилович, – нам не нужны подготовленные, их переучивать сложно. А неумехи “зеленые” – в самый раз. Научим, а пока на манеж, побудьте со всеми. Заявление принять

учиться пишите сейчас. И под купол смелей!» Вошел, уселся в рядах за ареной. Вглядываюсь в публику, воображая, с кем буду и кто я. Оторопь берет, но стараюсь не отвлекаться. Такие же все, кто-то чуть постарше и более нагловатый.

С пяток человечков-лилипотов расселись впереди – их тогда еще принимали на выучку, для экзотики сцен. Покидая манеж, устремился со всеми читать список допущенных к конкурсу. Себя и Якунина нашел в списке. Всю дорогу домой латошили, бодро и озоровато. А на душе беспокойно: зачем сцена, в деревне лучше...

Предстоит первый тур конкурсных испытаний. Прием в училище строгий – 14 к одному, на каждое место в училище – 14 претендентов. Отборочные испытания в два тура, нужных оставят, а другие отсеются. Надо 22 юноши, все остальные лишние. На подготовку к первому туру три дня; физкультурничать ходил с Якуниным в парки, в Останкинский и Центральный. Побывали и на аттракционах. Там для публики показывали популярный номер: пилот-мотоциклист на бешеной скорости вскакивает на стену емкости в виде огромного дубового чана и, пригибаясь, мчится под рев мотора по вертикальной стене устройства, только круги отсчитывают. Понятно, ревущая скорость прижимает мотоцикл к стене, и ротозеи, обступив устройство, переживают: кабы не расшибся, миг не станет. А пилот в кожанке и крагах заглушил мотор и из чана вылез, как ни в чем не бывало. Прямо молодец. Другие аттракционы – на обывателя, и его подкидывают, пристегнутого, вниз головой, и он вопит истошно...

И вот настал первый отборочный тур испытаний. Толпятся у дверей манежа парнишки, волнуются. Как-то будет? Входят понемногу, поочередно. Наконец и мой черед. Стараюсь держаться твердо, но какое там равнодушие – внутри все кипит! Дан сигнал тронуться, идти к столу в конце зала, где и сидят оценщики из приемной комиссии. В расчет берут первым делом внешность – экстерьер, психологическую уравновешенность и немного самых простых упражнений на турнике. Длинная дорожка к столу, легкое приветствие, и тут же к снаряду. Подтянулся, прыгнул и долой. А за столом кумекают – годится для дальнейшего отбора или нет. Вернулся в фойе, к таким же возбужденным, как и я. В конце сеанса нашей группы объявили результат, выходило: Ваня Якунин завалился, а мне повезло – прошел. Шли с ним домой невесело – при-

шлось утешать товарища, мол, еще покажешь себя в другом месте, а без Школы циркового искусства обойдется, характером не подошел. Смирился, серьезным стал. Невесело было и мне, ведь пошел за компанию, а теперь рядом никого – один как перст.

Назавтра надо быть в Школе циркового искусства для врачебного осмотра. Продолжался он долго, старая бесцеремонная врачаха ощупывала меня так и сяк, залезала глубоко внутрь. И с тем отпустила.

Ко второму туру испытаний «романтиков успеха» уполонилося. Входим на манеж по вызову. Слышу свою фамилию. Пора! Заиграла музыка, туш. Взбодрился – и прямо по ковровой дорожке к столу судей. Знак – начинать упражнение. Прикоснулся ладонями к магнезии, чтобы не скользили, и на турник махнул. Подтянулся, сделал «уголок» полусогнутой рукой и, отойдя чуть в сторону, встал. Теперь художественное чтение, оно тут входило в программу. Читаю из Пушкина «Зимнее утро», в такт декламации – жесты, подчеркиваю интонациями характерные выражения. Всё, к выходу. Ждем результат. Первым выскочил в фойе Олег Воронов. Счастливый, ловкий, представительный юноша в спортивном костюме, высокий, на голову выше нас всех, взирающих у дверей. Свой успех Воронов отметил прыжком. А мы, мальчишек 30 нашей группы, ждем. Счастливчиков набралось совсем чуть, остальным надо было «отваливать» восвосяи. Среди них я.

Шли опечаленные. Развеселился разве встречей с Енгибаровым, моим одноклассником из давних лет. Ведь с Леней учился в четвертом классе, и было это в 1946 г., в школе 241 в Марьиной Роще. Война только что отошла, но кругом следы и находки. Наша Шереметьевская улица усеяна шрапнелью. Возят ее на завод цветных металлов, а он вблизи церкви Нечаянной Радости, куда мальшняя изредка сбегается и получает в протянутые ладошки по щепотке поминальной кутьи. На завод мы проникали за значками, их, забракованных, тоже свозили в старом грузовике. И пока он въезжает в растворенные ворота, надо проскочить в промежуток. И быстро к вороху значков, ухватить горсть – и в карман. Сторож, стягивая распахнутые створки ворот, не сразу очухается, да хоть поймает, вреда не сделает, лишь обдаст бранью. Интереснее бывал набег школьников на авиационную свалку. Разобранные на утиль самолеты, наши и чужие, шли на переплавку всё на тот же завод

цветных металлов. Горы пластин обшивки, а внизу эверестов лома кучи гильз и деталей моторов. Везде мальчишкам хочется всё посмотреть и покопаться. А как залезешь на эверест алюминиевого лома, высматриваешь охранника с ружьем и скатываешься вниз на чемоданчике с учебниками, как придется, поскорей, лишь бы не попасться под злую руку охранника. В классе похвалялись потом, что нового нашли.

И слышалось в классе одно и то же. Учительница кричит: «Енгибаров, ты опять по столам носишься! Что за озорник такой, хоть кол на голове теши – не поймет!» Журят Леню все учителя, отругают и жалеют, любят его больше других одноклассников. А тихонями тут были и Клименко, и Буров, и Якунин, и я. Нам бы только слушать и понимать, но учился и соображал Леня не хуже. И даже бывал внимательным и дружелюбным. Не раз приходилось бывать у него в доме. Ютилась семья неподалеку от нашей 241-й школы, в одном из бесчисленных проездов Марьиной Рощи, может быть в 16-м по счету. Старый домишко, с печкой и керосинкой. Жилье, обжитое по-московски, и доброта в людях старозаветная.

И забылись проделки Енгибарова в школе. Бывало, торопишься в класс с тарелкой пюре, котлетой и баранкой – на большой перемене нас подкармливали в голодном 46-м – так вот, торопишься в класс, чтобы поесть. А он подвернется в коридоре и как бы нечаянно – подножку. Упадешь, тарелку выронишь, котлета и пюре на полу, баранка откатится. Собирай и неси в класс. Но вообще-то он не был злым, балагурить любил.

Всё это вспомнилось, когда мы, отсеченные, возвращались с Тверской-Ямской, обескураженные неудачей. К слову, Леня Енгибаров поступал в Школу циркового искусства не раз и только на третий год прошел и был принят. Артистический талант комика и мима в нем проявился большой, чем и запомнился московской публике.

Всё рассказываю так дотошно о далеком-далеком детстве, чтобы вернуться к необыкновенному Воронову четверть века спустя. И тот первый возглас: «Вот это да!» – произнесенный в редакции «Человека и природы», сразу вернул нас в реальность той поры. Встреча была столь неожиданной, что не сразу и поверилось, что мы вместе, как и тогда, в той самой Школе циркового

искусства, где Воронов, счастливый и успешный после сдачи на отлично приемного экзамена, и я в артели жаждущих решения жюри. Он был замечен и счастлив, потому и запомнился больше он мне, чем я ему. Но стоило мне только сказать несколько слов, как это происходило, его память как бы выхватила и осветила этот час его жизни. Он задумался, довольный, и мы расцеловались. «Ну, здравствуй, Олежек», – теперь уж и не растащить нас ни четвертью века, ни веком, будем вместе... Порассуждали чуть с письменниками и договорились с Вороновым встретиться либо у него, либо у меня. Он звал к себе.

И вот я у него в гостях. Расспрашиваю осторожно, жена его не располагает к откровенным излияниям. Нина Васильевна – чиновница, широко известная в узком кругу. Чурались таких. Зато сам Олег скромн, обаятельно прямодушен, дружелюбен и весел. Как сложилась его судьба, расспрашивать не стал. Лучше об увлечениях. Охота занимает, да не трофеями, а картинами на вольном просторе. Пробует писать рассказы из жизни природы, о встречах с людьми находчивыми, степенными. Чувствую: да он сам такой, смелый и находчивый. Летом живет в тверской деревне, в доме на отшибе. Называет, где именно. Так это же место мне знакомо! У Филипповского там бывал, селяков тамошних знаю. Называю: оказывается, там-то и его домишко. Приглашает побывать. А чего бы? К Воронову всей душой, к Филипповскому зайду, его книжечки «Человека и природы» сподобили нас повстречаться вновь.

А сперва – ко мне давай. И вот Олежек в Тарасовке. Показываю, как живу, чем увлекаюсь. А увлечение у меня самое простое: воссоздаю крестьянский обиход, всё, что мужик для избы делал сам, необходимое в селе, то повторяю и я. Режу из кряжа ступу, мастерю ткацкий стан, сею лен и получаю чистое волокно, выдалбливаю из дерева емкости: кадки, кадочки и ушаты. Замыслил я обзавестись ручной мельницей, уже и рожь посеял – зерно получу. И камни под жернова приглядел в Москве, да привезти как – не соображу. Старинные инструменты ишу на базаре. Туда стаскивают старый скарб из разбираемых домов. Набралось на целую артель рубанков, отборников, стамесок и долот. Топоры, колуны, пилы – всего изрядно. Амбар с полками и полатами вмещает всё, найду место и ручной мельнице. Олег всем этим живо заинтересовался, подсказывает, как чище работать, чувствуется умение и вкус к ладу.

Обедали по-деревенски, обильно. Потом к Клязьме подошли, на поемный луг поглядели. Помечтали погулять просто так, не считаясь со временем. А ведь сейчас за полдень, и остается лишь посидеть у камелька. И послушать его артистическую историю. Вот она.

Потрескивают дровишки сосновые, пускают запахи смолистые. А мы сидим, наслаждаемся уютством и дружеским разговором. Олежек весел, речист:

– Прошел конкурс, и я зачислен стать гимнастом. Тренировка главное, общеобразовательные занятия не главные, но были. Три курса позади, остался четвертый, выпускной. – Далее Воронов с монолога перешел к эскизному повествованию, – видать, исповедаться ни к чему.

В общем, дело продолжалось так. Его гимнастические номера разрабатывались им самим и наставниками. Одобрялись всеми, выдвигались для показа на Цветном, в цирке. Номер готовят под куполом у самой вершины. Софиты мягко разливают свет, а гимнаст Воронов и его напарница стоят в качалке на высоте 60 метров. Девушка должна стремительно вскочить на его плечи и, показав несколько акробатических номеров, оказаться на его протянутой ладони. Он держит артистку легко, а она, смеясь, посылает публике поцелуй. На манеже, когда разучивают номер, публики нет. Сверху заметен один страховщик. Страховка не бывает видна, да и служитель вроде не «торчит». Воронов и гимнастка спустились в качалку, где она, в порыве благодарности за смелую и сильную поддержку, жарко поцеловала его. Он ответил тем же. Ничего более под куполом не происходило. Но страховщику показалось, что там, в качалке на высоте, что-то было, и он подал рапорт в дирекцию. Впрочем, в пересказе точности не бывает. Да и нужна ли она кому?

Оказалось, нужна. Начальство посчитало это случаем чрезвычайным. И подававшего большие надежды гимнаста исключили с последнего, четвертого курса училища. Воронов знал – теперь армия. Пойду служить, как служили предки. В начале 50-х наших парней брали для пополнения частей в Восточной Германии. Там как бы западный рубеж страны и чуть ли не миллион служащих. Так вот, в Германии Олег Воронов и хлебнул казарменного быта, познал солдатскую дружбу, передумал свои мечты и, как воин-

спортсмен, считался во взводе человеком образцовым. В хрущёвские послабления части уменьшались; кто служил по призыву, мог вернуться домой. И Воронов вернулся. Надо работать, а вузовскую специальность добывать вечером, как это делали все из его поколения. И в пору нашей столь неожиданной для обоих встречи Олег Алексеевич Воронов не только инженерил, да к тому же выдвинулся в писатели. Его проза, бесхитростная и прозрачная как протертое стекло, посвящена охоте, родной природе и людям простодушным, цельным натурам. Каким и был сам Воронов, а увлечение охотой давало ему возможность побыть наедине со своими думами в окружении родных картин, помечтать о творческих дерзновениях. А они сводились к ладному слову и живописи. Перо и кисть не отдаляли Воронова от дел обыденных. В деревенской его избе я увидел потом хозяйственные устройства. В сенях он держит ульи – чем не омшаник: пчелы защищены и вылетают на волю без препятствий; в досках стены напротив каждого улья проделаны дырочки-летки. В апреле, когда я попал к нему, крылатые затворницы совершали свой ранний облет, теряя на снегу крупинки экскрементов. Скоро оживет пчелиное пастбище: на усадьбе и вблизи заранее посеяны Олегом медоносные растения: люцерна, фацелия и синяк.

А в самой избе главное – тепло. Несмотря на еще ранние весенние дни, продуманное в деталях устройство подтопки помогло ей не только быстро согреть промороженный дом, а еще позабавить нас живым огоньком, мелькавшим в печке при распахнутой дверке. От подтопки до дымохода через всё помещение протянуты жестяные трубы, подвешенные на безопасном расстоянии к потолку. Трубы быстро раскаляются – и вот уж в избе поселилось тепло, а с ним и еще большее радушие. А Воронов и на морозе радушен, а тут уж и вовсе мы уселись налегке за стол – перекусить. Воронов, как бывалый спортсмен, не пил, разве что рюмку-другую «утешеньница», зато в готовке еды толк знал. Вот и теперь, на ходу, разогрел прихваченное, вскипятил чай, нарезал ломтями хлеб и сыр – ну чем не довольствие! Едим и поглядываем друг на друга. Одним словом, старые друзья за разговором. Наутро выберемся на охоту.

Сразу скажу, Воронов охотник по страсти, но привык смирять себя и ко всему относился разумно, рассудительно. Одним

словом, писатель-натуралист, ему не трофеи давай, а впечатления, эстетическое свидание с природой. Когда мы подходили к Нерли – здесь она узкая, в глушинке, – издалека заметили возбужденную стайку журавлей – токуют, самцы похваляются перед самками, а те выбирают кавалеров. Птица весьма сторожкая, ближе 800 метров человека, а тем более с ружьем, не подпускает. А мы продолжаем идти, и они мигом слетели. Остались утки, самые рядовые обитательницы водоема. Здесь их много, и речной ландшафт украшен прилично. Олег вскинул ружье и снял с лета одну, больше не надо. В избе охотники отобедали по-трофейному. Воронов упомянул о своем любимом чтении живых охотничьих журналов прошлого времени и о том, как веселится сердце в мечтах создать что-то новое из охотничьей практики. Да вот, практики обширной, и рассказов, написанных натуральным языком, ему пока явно недостает. Гляжу на своего друга и думаю: с такой чуткостью и природной строгостью добьешься всего – помечен талантом неспроста, только успевай делать.

А сам-то чем занимаюсь, что делаю? Рассказал Олегу, как загорелся поставить ручную мельницу. И уж подходящие камни вязкого мелкого песчаника, самого «жернового», приглядел в заброшенном дворе, дожидаются вывоза на свалку. А когда-то камень служил бордюром вдоль лужайки. Нашел, да вот переправить на дачу не могу. Таксист не возьмется поднимать и везти. Посокрушался. И Олег промолчал. Через некоторое время приехал ко мне и говорит: «Ну, где твои камни, поедem на дачу». Погрузил тяжести, а я ничем и помочь не могу, смотрю только: камни в его руках, как мячики прыгучие, будто сами и запрыгнули в машину. Через какое-то время, невзирая на зимнюю погоду, в мороз, самая пора обтесывать камни. Далеко раздается мой стук молотка. Зубилом сравниваю край «пльвуна» – верхнего жернова, проделываю с кулак отверстие в середине, чтоб подсыпать зерно. А проделать его непросто, никаким победитовым сверлом не воспользуешься – отскакивает без следа. Поможет только шлямбур: постукиваешь по нему молотком и поворачиваешь вправо-влево, постепенно зубья инструмента вгрызаются в камень, оставляя заметный след. Так и ведешь, не торопясь. Вот и продолблено отверстие. Засыпай зерно для помола, крути верхний жернов-пльвун. Осталось на камне проделать бороздки, они как зубы будут перетирать ржицу в муку.

Всё готово, нет только стана для мельницы. Нужны крепкие брусья, а где их взять, ведь на лесоскладе ничего не было, пришлось ждать. А тем временем подоспели другие дела. И уже собранная по источникам «Крестьянская энциклопедия» тоже дожидается своего часа для завершения. Так и лежит, дожидаясь. Воронову показал свои заготовки, понимает, сочувствует. Всё, связанное с жизнью нашего простого народа, его касается и явно интересуется. Человек он письменный, пускай у него есть хоть и чемпионские награды, завоеванные на цирковых конкурсах и в армейских показательных состязаниях, но зов предков он слышит и на все доброе живо откликается.

Живется Воронову, как и всем нам, при Горбачеве особенно трудно. Заносчивая жена его, Нина Васильевна, поселившись в цеховском доме на Больших Каменщиках, взбеленилась, клянет мужа. «Я, – говорит, – тебя из барака вытащила». Махнул Олег рукой на эту трепку нервов, лучше развестись и начать по-новому.

Так и сделал. Нашел себе пару по сердцу, правда с разницей в возрасте лет в 15, и зажил с доброй, порядочной женой душа в душу. Был я у них в гостях и от неожиданности замер. Со стены на меня как бы глянула родная Русь – это картины Воронова, написанные маслом на холсте, да так умело, будто создавал большой мастер. А Олег в свободное время не расстается с этюдником, всё наброски делает, колорит подбирает, художественные лица стариков запоминает в набросках. Как уюта, и художества жаждала душа, долго мыкалась, и наконец отлегло.

Деревенского двора теперь у Воронова нет: разведенная жена отсудила. Он один все хозяйственные постройки держал, усадьбу облагородил, – а тут, кроме упертости и черного расчета, ничего нет. Только избушки на краю разоренного села Олегу и жалко, остальное отвалилось само собою. Тосковал иногда по бывалым новоселам, пришедшим, но внимательным. Даже отнятых пчел не хватало, этих неугомонных Божьих работниц. Всё было у Воронова в хозяйстве, что любил и что требовало точности, собранности и воли, – всем этим обладал он. Расстраивала разве поспешность в других. Помню, мой друг слегка упрекнул меня за неаккуратно сделанный стеллаж для книг. Когда грузили в его машину столярную самоделку, Олег, посмотрев на сколоченные полки, заметил: «Надо бы плотнее, чище на спилах». Оправдываюсь: ножовка

у меня грубая, шершавая, а лучковая пила не налажена. Только это не оправдание. Когда прибили на место у нас дома и разложили книги, вроде бы ничего получилось.

Книги и кисти делались всё ближе талантливому другу...

Чем старше становишься, тем щемительнее расставание с друзьями. Не выдержало доброе сердце Олега Воронова тягот, нагрузок в его жизни. Звонок рыдающей Наташи известил об ужасной трагедии: нашего друга больше нет. Сообщила, где будем прощаться, где хоронить. Смерть внезапная ошеломляла, не верилось, что не стало нашего близкого человека. Утешало меня разве одно: часть собственной жизни была рядом с ним и скрашивалась дружбой, взаимной приязнью. А ведь это чувство радования неистребимо, оно навсегда с тобой. Друг остается в живых, куда сам буду жив.

Незабываемая Куприна

Когда собирал факты к биографии Евгения Замятина, писателя, запрещенного у нас и в 1960-е годы, приходилось довольствоваться малым. Главное, чтоб и это малое было услышано из уст самовидца, знакомого ему человека и как-то понимающего его; считал такого человека для себя счастливой находкой. Как говорили когда-то: клади по ягодке, наберешь кузовок. И набирал, где придется. Только вот беда: нужных самовидцев тех яростных лет в литературе почти не оставалось. И когда прослышал в Комарове от Михаила Слонимского, что там же, в Доме творчества писателей, отдыхает дочь Александра Ивановича Куприна, смекнул, что надо бы повидаться непременно и поговорить с нею. Пошел разыскивать: говорят, пока нету ее, на прогулку ушла. Любит сюда ездить из Москвы, где и живет не то чтобы скрытно, но скромно и замкнуто. Об отце своем рассказывает живо, с достоинством. Во Франции оставалась до победы, тогда же и вернулась в Россию, уже новую, красную. Но другого выбора не было. А здесь, на родной земле, популярность Александра Ивановича всё возрастала. Стали издавать его задушевные повести и рассказы. На всех уровнях интеллекта проснулся интерес к прозе Куприна. Кое-кому попадались редкие публикации и даже зарубежные вещи. Сама Ксения Александровна по возвращении домой, в Москву, пробовала

поначалу заняться сценой, а вскоре целиком погрузилась в рукописи своего отца, осваивала обширное его наследие, переписку. При этом круг упоминаемых лиц становился все охватнее, разыскания углублялись. Требовалась исследовательская работа, а она велась пока, по существу, одним человеком, Павлом Петровичем Ширмаковым, сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом), защитившим кандидатскую диссертацию по творчеству Куприна. Отцовское прозвание дочери «Киса», приближенное по созвучию к имени Ксения, так и закрепилось за нею, было как бы семейным и дружеским. На французский манер звучало похоже: «Кисса Куприн». Иван Алексеевич Бунин только так и называл ее, да и сама она в шутку тем же именем подписывалась. С тем и жила в парижской среде. Жених у нее там был, да в войну пропал.

А читательская любовь к Куприну на Родине с переездом его к своему народу и вовсе окрепла. Становился он поистине народным классиком. То, что создано им в эмиграции, оставалось недоступным рядовому человеку, да и спецам далеко не всем удавалось прочесть. Потребуется несколько десятилетий, чтобы как-то приоткрылся здесь неизвестный Куприн. И приоткрывал его настойчивый филолог Ширмаков. Обо всем этом наскоро передумав, наконец дождался Ксении Александровны. На порядочном подъеме из-под горы показались две женщины, обе устали. «Валидол-стрит – так называем мы эту горбатую дорогу». Мило перекинулись фразами для знакомства. Предлагаю перевести дух в кафе, за столиком уселись втроем. Пока тянули красное вино, разговорились. Весело поглядывает Кисса Куприн; вроде как в «бистро», а тут еще и французская тема подвернулась. Называет имена французских знакомых: Жана Габена, Эдит Пиаф, а с ними и Евгения Замятина – ставили кинофильмы по его сценариям. Общительная, находчивая собеседница, но тронутая усталостью лет, с остатками следов былой красоты. Упоминаем произведения Куприна и Замятина, схожие по сюжету: «Юнкера» и «На куличках». Армейские будни, мужские характеры выписаны в них тщательно, и тема казарменного быта подана мастерски, исчерпывающе, до дна; традиция и модерн сочетаются. Да об этом не время, «бистро» настраивает на разговор полегче, скажем, об интересных встречах в творческом доме, о нелепых случаях. Подошла пора прощаться. Проводив

подруг до корпуса отдыхающих, направился, не торопясь, к городской остановке.

Спустя лет пять снова встретился с Ксенией Александровной, но уже не на бегу, а у нее дома. Пришел вместе с Павлом Петровичем – приглашали. Не успели перешагнуть порог квартиры, слышу: «Из космоса прилетел», – это к Ширмакову. С Кисой он в друзьях издавна. Пробурчал что-то в ответ. И тут-то отвлек крупный, упитанный рыжий кот: ходит по столу, так и норовит запустить лапу в глубокую жестянку, чтоб подцепить толику молотого кофе, потом лакомится, слизывает его. Довольный прошелся по скатерти, озирается. «Ю-ю», – послышался голос Куприной, и доволенный кот мягко спрыгнул к ней на колени и важно улегся. Мы поговорили с час-полтора за столом, и Павел Петрович бесцеремонно улегся прямо в кровать, в ортопедических ботинках, на чистое одеяло. Ему это прощалось, ведь хромой он, в войну ногу серьезно изувечило.

А было так. Под Питером насмерть дрались мы и они. Клочок земли под прицельным огнем, не подступись. Кинжальный огонь сутками. И попить воды невозможно как хотелось, пересохло нутро. А ручей прохладной влаги рядом. Но до него не доползти ни Ивану, ни Гансу – свинцовый ураган шевельнуться не даст. И вот, перегорев в ненависти, бойцы заметили: один наш солдат, прижимая котелок, вроде бы как напропалую пополз к ручью. Враги смекнули: пусть рискует жизнью, только огонь чуть придержали. И дополз Иван до воды, зачерпнул котелок – и в окоп. Через какое-то время пополз Ганс, наши чуток умерили огонь в эту живую точку. Зачерпнул влаги, и в свое укрытие – уцелел. Солдатская смекалка подсказала: совсем без воды не выдержат неделями. И молча наметили враги уговор: раз в сутки по знаку наш боец может доползти до воды и принести полный котелок товарищам. Через какое-то время и противник также поможет своим, изнемогшим от жажды.

Под Питером рядовой Ширмаков был тяжело ранен в ногу. Боевые положены, да еще по дороге с Павлом Петровичем чуть приняли. Вот и расслабился, а прилечь негде, завалился на кровать...

Теперь у нас вдвоем разговор. Удивляюсь внушительному дубовому сундуку старинной ручной работы – прислонен к стенке. «Тут храню рукописи отца», – упреждает вопрос.

Подошла к широкому окну, выходящему на большой асфальтовый двор. Сухонькая, с просветленным лицом и как бы уменьшенная; говорит сутулясь, но жаловаться не стала, а доверительно сказала о своих недомоганиях и дурных предчувствиях. Вот еще беда: дети со двора криком донимают, – заметно раздражается, когда говорит, как они выводят ее из себя – одинокую, переполненную тяжелыми размышлениями. Ну что тут сказать? Конечно, жалко безмерно. Пожелал крепости духа.

А вот и Ширмаков «вернулся из космоса». Ю-ю вышагивает, глазки таращит, будто присматривается к 13 томам Куприна, о них велась речь. Что из того, что Павел Петрович переписывал от руки из газет русского рассеяния тексты рассказов и очерков, свертывал трубочкой страницы и складывал у себя. Помнится, у него на полу питерской каморы ворох этих страниц. Так и лежали в трубочках без движения. Говорю: надо бы перестукать на машинке и потихоньку публиковать. «Пока не время». Подошло ли оно, или всё еще не время сполна печатать безусловного классика? Только история покажет, который час и русский ли он.

Главное, как обычно в разговорах Павла Ширмакова, – наш общий герой – Куприн. Затронули нашу с ним поездку в Гатчину в начале 70-х. Было то, помнится, 21 мая. Погода тогда сильно поменялась – дождь со снегом, и холод пробирает заправский. Цель для меня заветная – подняться на Дудорову гору и попробовать разглядеть оттуда купол Исаакия Далматского, солдаты Юденича его оттуда однажды видели. Книжка Александра Ивановича «Купол собора Исаакия Далматского» издана была за рубежом и доступна из моих знакомых разве что одному Ширмакову, а он, возможно, ее получил из рук самой Ксении Александровны. Книжка эта меня захватила полностью, пробовал даже в дневник кое-что заметить. И всё же лучше всего в натуре поглядеть, глазами добровольцев.

Дудергофские горы не слишком высокие, но с крутыми склонами. Карабкаемся вдвоем, поглядывая с высоты вниз. Вон ползет личинкой электричка, а впереди пробиваются пока не густеющие травы. Наверху горы, отдышавшись, вглядываемся в центр

невской столицы Петра. Эх, как бы в бинокль окинуть Невский и купол золотой получше разглядеть, а так-то тридцать верст да пасмурная погода мешают, вид смазывают. Пока оглядывали макушку, наволочь с неба стала сползать, и сразу повиднело. Зорче всматриваемся в городские площади и проспекты. Ну как же, вот он, Исаакий! С его золотым «кумполом», с крестами, совсем близко. Как не храбриться было простодушным добровольцам? И они храбрились, по-своему примечая солнечные отличия святыни.

Разумеется, всё, что я так увлеченно рассказывал своим собеседникам, им ведомо доподлинно, а читательский восторг, мне показалось, задел дочь Куприна. Всё, где ее отец, там и она, вмещающая живо. Добавила лишь несколько слов касательно ругателей и ненавистников отца, во многом этой книжкой распалеемых. Да пес с ними, их не перетолкуешь, проще не замечать.

Прощались с дочерью Куприна тепло, как с человеком близким. До дверей нас провожал Ю-ю и его даровитая хозяйка, Ксения Александровна, «Кисса». И ее рыжий дружок Ю-ю на прощание поднял лапу. Спасибо!

А мы с Ширмаковым направились к нему ночевать, и там еще до полночи вникал в купринскую публицистику, мне дотоль неизвестную. А наутро Павел Петрович обещал сводить меня в древлехранилище Пушкинского Дома.

Древлехранилище Пушкинского Дома – собрание жемчужин этого академического института, драгоценных памятников словесности Древней Руси, обретенной в подлинниках давнего времени. Рассказывает нам хранитель этих сокровищ Владимир Бударагин. Он подводит нас к роскошно переплетенной рукописи Писания, и мы вглядываемся в тексты, трепетно и с величайшей тщательностью написанные от руки. Это, говорит, переписывала Царевна Софья для своего дружка Василия Голицына, в знак непритворных чувств. Сколько сладостного усердия, сколько благоговения в многодневном труде. И всё ради отважной любящей души. Разглядывая этот беспримерный памятник, я невольно вспомнил «Суламифь» Александра Куприна – вдохновенный пересказ книги Соломона «Песнь Песней», самой жгучей поэмы библейского канона. Она о высоких помыслах, приближенных к земле, – о любви и надежде. В мастерском переложении всё это сохранено вплоть до передачи аромата. Александр Иванович был поистине большой

художник слова и прекрасный стилист. Второй век живет его пересказ «Суламифь», а воспринимается в первоначальной свежести. Куприн – замыкающий классик великой нашей литературы, облагораживает и теперь народный характер.

Еще одно дивное диво древлехранилища – подлинник рукописи огнепального Аввакума. Она как святыня сберегалась старобрядчеством и вот сквозь лихие годы дошла до наших дней. А всё благодаря исследователям, ищущим и просвещенным, водимым Владимиром Ивановичем Малышевым, основателем этого отдела в Институте русской литературы. Автограф «Жития» протопопа Аввакума энергичен, будто он сам в неукротимой воле и стремлении к правде. Рукопись облечена в камус, сыромятную кожу с шерстью, словно только что снятую с ноги оленя.

В фондах древлехранилища представлено много славных имен, чьи деяния не забыты в нашей истории. И конечно, здесь представлено богатейшее собрание редкостных сборников для церковного и светского употребления, сказания о святых угодниках и богослужебные тексты. Всё, чем жила Родина от века, здесь хранят достойно и со знанием дела.

Попрощавшись любезно с тружеником исторической памяти, с благодарностью направился в гостиницу, чтоб осмыслить узнанное.

Публикацию подготовила М.А. Бирюкова

ЗАМЕТКИ КОТА УЧЕНОГО

ЧИТАЯ «ЖИВАГО»

Впервые я узнала о книге «Доктор Живаго», будучи шестилетней девочкой. Это была аудиокнига, которую родители слушали в дороге, а вместе с ними и я. С первых строчек детское воображение и сердце были захвачены невероятной силой слова, однако, несмотря на сильное впечатление, в шесть лет понять весь смысл написанного почти невозможно. Долгое время из моей головы не выходил образ маленького Юры, плачущего на кладбище, ужасы революции и прекрасная Лара.

Прошло десять лет, и вот недавно, найдя ту самую книгу, которая взволновала маленькую девочку, я решила ее прочитать.

Это книга о трудных взаимоотношениях человека и эпохи. Когда в один миг всё начинает меняться с бешеной скоростью, удары судьбы летят в людей словно из пушки, а им надо с ними справляться, пытаясь сохранить верность себе.

Образ Живаго – автобиографичен; Пастернак наделяет его своими взглядами и, главное, – стихами. Благодаря стихам мы понимаем глубину Юриной души, видим его человеком, оторванным от реальности, равнодушным к «вершению истории».

Он видит красоту и душу в пламени свечи, которая стояла на окне, и в падающем снеге. Будучи человеком, выбравшим самую гуманную профессию – врача, он сталкивается с миром, полным жестокости.

Юрий Андреевич верит в революцию, сравнивает ее с хирургической операцией, испытывает душевный подъем при мысли, в какое время он живет.

Смерть Живаго – кульминация романа. Врач попадает в трамвай, где у него случается сердечный приступ. «Юрию Анд-